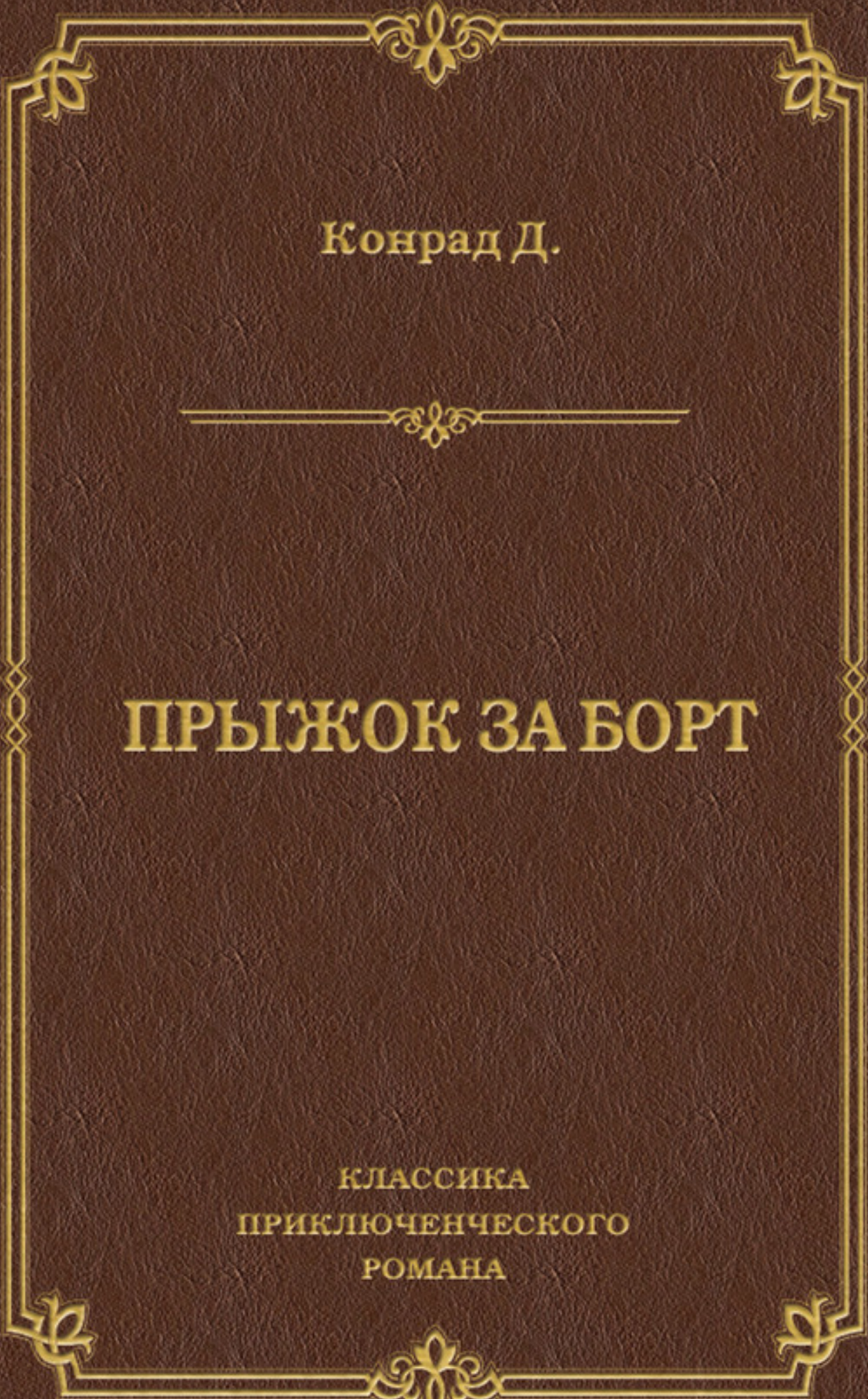




Конрад Д.

ПРЫЖОК ЗА БОРТ

КЛАССИКА
ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКОГО
РОМАНА

Классика приключенческого романа

Джозеф Конрад

Прыжок за борт

«Алгоритм»

1900

УДК 82/89
ББК 84(4Вл)

Конрад Д.

Прыжок за борт / Д. Конрад — «Алгоритм»,
1900 — (Классика приключенческого романа)

ISBN 978-5-486-02674-4

Джозеф Конрад (1857–1924) – выдающийся английский романист, пример редкой писательской судьбы: поляк по национальности, выучивший английский язык уже в зрелом возрасте, он становится классиком английской литературы. Конрад написал около тридцати книг о своих морских путешествиях и приключениях. Неоромантик, мастер психологической прозы, он по-своему пересоздал приключенческий жанр и оказал огромное влияние на литературу XX века. В числе его учеников – Хемингуэй, Фолкнер, Грэм Грин, Паустовский. В этом томе публикуется роман «Прыжок за борт» (в оригинале «Лорд Джим»). Его главный герой, Джим, с детства мечтал о море. Но когда мечта сбылась и он стал штурманом, случилась трагедия: корабль потерпел крушение, а Джим – как единственный спасшийся член экипажа – предстал перед судом. Другие оставшиеся в живых члены команды попросту скрылись. Так он впервые столкнулся с трусостью, предательством и несправедливостью. В поисках счастья Джим отправляется в девственные леса Малайи. Судьба улыбается ему, но со временем ее улыбка превращается в насмешку.

УДК 82/89
ББК 84(4Вл)

ISBN 978-5-486-02674-4

© Конрад Д., 1900

© Алгоритм, 1900

Содержание

Вступление автора	7
Глава I	9
Глава II	12
Глава III	15
Глава IV	19
Глава V	22
Глава VI	31
Глава VII	41
Глава VIII	47
Глава IX	52
Конец ознакомительного фрагмента.	53

Джозеф Конрад

Прыжок за борт

© ООО «ТД Издательство Мир книги», оформление, 2009

© ООО «РИЦ Литература», 2009

Вступление автора

*Уверенность моя крепнет с того момента, когда другая душа
разделит ее.*

Новалис

Когда я выпустил этот роман отдельной книгой, заговорили о том, что я вышел за рамки задуманного. Кое-кто из критиков утверждал, будто начал я новеллу, а затем она ускользнула из-под моего контроля. Они напоминали: повествовательная форма имеет свои законы, и считали, что ни один человек не может говорить так долго, а остальные не могут так долго слушать. По их мнению, это маловероятно.

Около шестнадцати лет я раздумывал над этим и, признаться, не так в этом уверен. Нередко люди, – на тропиках и в умеренном климате, – просиживали полночи, рассказывая друг другу сказки. Здесь перед нами лишь одна сказка, но рассказчик говорил с перерывами, что позволяло слушателям отдыхать; если же говорить о выносливости слушателей, следует помнить: история была интересна. Это – необходимая предпосылка. Не считая историю занимательной, я никогда не стал бы ее писать. Что же касается физической выносливости, то всем нам известно: парламентские ораторы произносили свои речи не три часа, а целых шесть, тогда как часть книги, заключающую рассказ Марлоу, можно прочесть вслух меньше чем за три часа. Ну, а помимо всего, мы можем предположить, что в тот вечер подавались прохладительные напитки, помогавшие рассказчику довести историю до конца.

Нужно сознаться: я задумал написать рассказ, темой для которого выбрал эпизод с паломническим судном – и только. Таков был первоначальный план. Написав несколько строк, я остался чем-то недоволен и отложил на время работу. Я не вынимал рукопись из ящика до той поры, пока покойный мистер Уильям Блевуд не предложил мне снова дать что-нибудь в его журнал.

Вот тогда-то мне показалось, что эпизод с паломническим судном поможет развернуть большую повесть.

Те немногие страницы, какие пролежали у меня в ящике, до некоторой степени повлияли на выбор темы. Но весь эпизод я переделал заново.

Иногда мне задавали вопрос, не является ли эта книга самой любимой из всех мной написанных. Я ненавижу фаворитизм и в общественной жизни и в частной; столь же враждебен мне он и тогда, когда речь заходит об отношении автора к своим произведениям. Фаворитов я не хочу иметь принципиально; однако не стану говорить, что мне не нравится, когда иные оказывают предпочтение моему «Lord Jim», не скажу даже, что «я отказываюсь понять»... Ни в коем случае! И все-таки однажды я был сбит с толку.

Один из моих друзей вернулся из Италии, где беседовал с дамой, которой эта книга не понравилась. Конечно, я об этом пожалел, но что меня удивило, так это основание такой неприязни. «Вы знаете, – сказала она, – все это так болезненно».

Этот приговор заставил меня целый час тревожно размышлять. Допуская, что тема до известной степени чужда женщинам с нормальной восприимчивостью, я пришел к заключению, что эта дама не могла быть итальянкой. Я сомневаюсь даже в том, была ли она жительницей континента. Во всяком случае, ни один человек, в чьих жилах течет романская кровь, не счел бы болезненной ту остроту, с которой человек реагирует на утрату чести. Подобная реакция либо ошибочна, либо правильна; быть может, ее сочтут искусственной и осудят; возможно, мой Джим, как тип, встречается не очень часто, но я заверяю читателей, что он не является плодом извращенной фантазии.

Он – не житель страны Северных Туманов. Однажды солнечным утром в повседневной обстановке одного из восточных портов видел я, как он прошел мимо, умоляющий, выразительный, безмолвный, «в тени облака». Таким он и должен быть. И со всем сочувствием, на какое я способен, я должен был найти нужные слова, чтобы о нем рассказать. Он был одним из нас.

Джозеф Конрад
Июнь, 1917

Глава I

Ростом он был, пожалуй, на один-два дюйма меньше шести футов, крепко сложен; слегка сгорбившись, он шел прямо на вас, опустив голову и пристально глядя исподлобья, что вызывало в вас образ быка, бросающегося в атаку. Голос у него был глубокий и громкий, а держал он себя так, как будто упрямо добивался признания своих прав. Однако в этом не было ничего враждебного. Казалось, эта настойчивость вызвана была необходимостью и, по-видимому, относилась и к нему самому и ко всем окружающим. Одет он был всегда безупречно, с ног до головы в белом, и пользовался большой популярностью в различных восточных портах, где служил морским клерком в фирмах, снабжавших суда различной утварью.

От морского клерка не требуют никаких дипломов, но он должен отличаться деловой сноровкой. Его обязанности заключаются в том, чтобы в лодке или на катере обгонять других морских клерков, первым подплыть к судну, готовому бросить якорь, и приветствовать капитана, вручая ему проспект своей фирмы, а когда капитан сойдет на берег, морской клерк должен уверенно направить его к большой, похожей на пещеру лавке. Там вы можете найти все, чтобы украсить судно и сделать его пригодным к плаванию, начиная с крюков для цепи и кончая листовым золотом для украшения кормы.

Торговец встречает капитана, которого никогда не видел, словно родного брата. Там вы найдете и прохладную гостиную с креслами, бутылками, сигарами, письменными принадлежностями и копией торговых правил, и радушный прием, который растапливает соль, за три месяца плавания накопившуюся в сердце моряка. Знакомство поддерживается благодаря ежедневным визитам морского клерка до тех пор, пока судно остается в порту. К капитану он относится как верный друг и внимательный сын, проявляет терпение Иова и беззаветную преданность женщины и держит себя как веселый и добрый малый. Счет посылается позже. Какое прекрасное и гуманное занятие! Вот почему хорошие морские клерки встречаются редко.

Если расторопный морской клерк вдобавок еще и знаком с морем, хозяин платит ему хорошие деньги и делает кой-какие поблажки. Джим получал всегда хорошее жалованье и пользовался такими поблажками, какие бы завоевали верность врага. И тем не менее с черной неблагодарностью он внезапно бросал службу и уезжал. Несостоятельность объяснений, какие он давал своим хозяевам, была очевидна. «Ну и болван», – говорили хозяева, как только он поворачивался к ним спиной. Таково было мнение об его утонченной чувствительности.

Для белых, живших на побережье, и для капитанов он был просто Джим. Имел он, конечно, и фамилию, но был заинтересован в том, чтобы ее не знали. Это инкогнито, продырявленное, как решето, имело целью скрывать не личность, а некий факт. Когда же об этом факте начинали говорить, Джим внезапно покидал порт, где в тот момент находился, и отправлялся в другой порт, обычно дальше на восток. Он держался морских портов, ибо был моряком в изгнании, – моряком, оторванным от моря, и отличался той сноровкой, какая пригодна лишь для морского клерка. В боевом порядке он отступал туда, где восходит солнце, а факт следовал за ним, получая огласку случайно, но неизбежно.

Годы шли, а о Джиме узнавали то в Бомбее, то в Калькутте, Рангуне, Пекине, Батавии, и в каждом из этих портов его узнавали просто как Джима, морского клерка. Впоследствии, когда острое сознание невыносимого своего положения окончательно оторвало его от морских портов и белых людей и увлекло в девственные леса, малайцы лесного поселка, где он скрылся, прибавили прозвище к односложному его имени. Они называли его туан Джим; лучше всего перевести это лорд Джим.

Родился он в пасторской семье. Маленькая церковь на холме виднелась, словно мшистая серая скала, сквозь рваную завесу листвы. Столетия стояла она здесь, но деревья вокруг помнят, должно быть, как был положен первый камень. Внизу, у подножья холма, мягко отсвечивал красный фасад пасторского дома, окруженного лужайками, цветочными клумбами и соснами; позади дома находится фруктовый сад, налево – мощный скотный двор, а к кирпичной стене прилепилась покатая стеклянная крыша оранжереи. Здесь семья жила в течение нескольких поколений; но Джим был один из пяти сыновей, и когда, начитавшись во время каникул беллетристики, он обнаружил свое призвание моряка, его немедленно отправили на «учебное судно для офицеров торгового флота».

Там он познакомился с тригонометрией и искусством лазить по реям. Его любили. По навигации он занимал третье место и был гребцом на первом катере. Здоровый, не подверженный головокружениям, он ловко взбирался на верхушки мачт. Его пост был на формарсе, и с презрением человека, которому суждена полная опасности жизнь, часто смотрел он оттуда вниз на мирное полчище крыш, перерезанное надвое темными волнами потока; разбросанные по окраинам фабричные трубы вздымались перпендикулярно грязному небу, – трубы тонкие, как карандаш, и, как вулкан, изрыгающие дым. Он мог видеть, как там, внизу под ним отчаливали большие корабли, непрерывно двигались паромы и шныряли лодки, а вдали мерцал туманный блеск моря и надежда на волнующую жизнь в мире приключений.

На нижней палубе, под гул двухсот голосов, он забывался и в мечтах заранее переживал жизнь на море, о которой знал из книг: то он спасает людей с тонущих судов, то в ураган срубают мачты или с веревкой плывет по волнам, то, потерпев крушение, одиноко бродит босой и полуголый по рифам в поисках съедобных ракушек, которые бы отодвинули голодную смерть. Он сражается с дикарями в тропиках, умирляет бунт, вспыхнувший во время бури, и на маленькой лодке, затерянной в океане, поддерживает мужество в отчаявшихся людях, всегда преданный своему долгу и непоколебимый, как герой из книжки.

Что-то случилось. Все сюда!

Он вскочил на ноги. Мальчики избегали по трапам. Сверху доносились крики, топот, и, выбравшись из люка, ошеломленный, он застыл на месте.

Были сумерки зимнего дня. С полудня ветер стал свежеть, – движение на реке прекратилось, – и теперь он дул с силой урагана; его гул походил на залпы огромных орудий, бьющих через океан. Дождь был косой, ниспадала хлещущая сплошная завеса; изредка перед глазами Джима вставали набегающие волны, суденышко билось у берега, неподвижные строения вырисовывались в плавучем тумане, тяжело раскачивались паромы на якоре, задушенные брызгами. Следующий порыв ветра, казалось, все это смыл. Воздух словно состоял из одних брызг. Было в этом шторме злобное упорство, ярость и настойчивость в визге ветра, в смятении земли и неба. Эта ярость как будто была направлена против него, и в страхе он затаил дыхание.

Кто-то его толкал: «Спустить катер!» Мальчики пробежали мимо него. Каботажное судно, шедшее к пристани, врезалось в лежавшую на якоре шхуну, и один из инструкторов учебного судна видел, как это произошло. Мальчики вскарабкались на перила, окружили боканцы и кричали: «Авария! Как раз перед нами. Мистер Симонс видел!» Его отпихнули к бизань-мачте, и он уцепился за веревку.

Старое ошвартованное учебное судно дрожало всем корпусом, а снасти низким басом тянули песнь о днях его юности. «Ступайте!» Джим видел, как лодка быстро исчезла за бортом, и бросился к перилам. Слышен был плеск. «Отдать канаты!» Он перегнулся через перила. Вода у борта кипела и пенилась. В темноте виден был катер, отданный во власть ветра, и валы, которые на секунду пригвоздили его борт о борт с судном. Слабо донесся чей-то голос с катера: «Гребите сильнее, если хотите кого-нибудь спасти! Гребите сильнее!»

И вдруг катер, подбросив высоко нос – весла были подняты, – перескочил через волну и разорвал цепи, в какие заковали его волны и ветер.

Кто-то схватил Джима за плечо.

– Опоздал, малыш!

Капитан учебного судна опустил руку на плечо мальчика, казалось собиравшегося прыгнуть за борт, и Джим, мучительного сознавая свое поражение, поднял на него глаза. Капитан сочувственно улыбнулся.

– В следующий раз тебе повезет. Это научит тебя сноровке.

Катер приветствовали громкими радостными криками, он вернулся наполовину залитый водой, танцуя на волнах, а на дне его копошились два измученных человека. Грозный гул моря и ветра казался Джиму не стоящим внимания, и тем острее сожалел он о том, что испугался их бессильной угрозы. Теперь он знал, чего стоит эта угроза, и думал, что шторм ему нипочем. Он не испугается и более серьезной опасности. Страх прошел бесследно, но тем не менее в тот вечер Джим мрачно держался в стороне, а носовой гребец катера, мальчик с девичьим лицом и большими серыми глазами, был героем палубы. Его обступили и с любопытством расспрашивали. Он рассказывал:

– Я увидел его голову на волнах и опустил багор в воду. Крючок зацепился за его штаны, а я чуть не свалился за борт, думал, что упаду, но тут старый Симонс выпустил румпель и ухватил меня за ноги, лодка едва не опрокинулась. Симонс – славный старик. Беда не велика, что он всегда ворчит. Пока держал меня за ногу, он все время ругался, но этим хотел только мне внушить, чтобы я не выпускал багор. Старик Симонс ужасно кипит, правда. Нет, я поймал не того маленького белокурого, а другого, большого с бородой. Когда мы его вытащили, он простонал: «Ох, моя нога! Моя нога!» – и закатил глаза. Подумайте только, такой здоровый парень падает в обморок, словно девчонка. Разве мы с вами лишились бы чувств из-за какой-то царапины багром? Я бы не лишился! Крючок вонзился ему в ногу вот на такой кусок. – Он показал багор и вызвал сенсацию. – Крючок, конечно, вырвал кусок мяса, но штаны выдержали. Кровь так и хлестала.

Джим решил, что тщеславие – это суетно. Буря вызвала героизм столь же фальшивый, как фальшива была и самая угроза шквала. Он негодовал на дикое смятение земли и неба, заставшее его врасплох и задушившее готовность встретить опасность. Отчасти он был рад, что не попал на катер, ибо достиг большего, оставаясь на борту. Многие стало ему более понятным, чем тем, что участвовали в деле. Если бы все утратили мужество, он один сумеет встретить фальшивую угрозу ветра и волн – в этом он был уверен. Он знал, чего она стоит. Ему, беспристрастному зрителю, она казалась достойной презрения. Он сам не ощущал ни малейшего волнения, и происшествие закончилось тем, что Джим ликовал, отделившись незаметно от шумной толпы мальчиков; по-новому он убедился в своей жажде приключений и многогранном своем мужестве.

Глава II

После двух лет учения он ушел в плавание, и жизнь на море, которую он так ясно себе представлял, оказалась лишенной приключений. Он проделал много рейсов. Он познал магию монотонного существования между небом и землей; ему приходилось выносить попреки людей, взыскательность моря и прозаически суровый повседневный труд ради куска хлеба; единственной наградой за него являлась безграничная любовь к своему делу. Эта награда ускользнула от Джима. Однако вернуться он не мог, ибо нет ничего более пленительного, разочаровывающего и поработщающего, чем жизнь на море. Кроме того, у него были виды на будущее. Он был надежен, дисциплинирован и в совершенстве знал, чего требует от него долг; вскоре, совсем еще молодым, он был назначен первым помощником на прекрасное судно, не успев столкнуться с теми испытаниями моря, какие разоблачают, чего стоит человек, из какого теста он сделан и каков его нрав; эти испытания вскрывают силу сопротивления и подлинные мотивы его стремлений не только другим, но и ему самому.

Лишь однажды за все это время он снова мельком увидел подлинную ярость моря, а ярость эта проявляется не так часто, как принято думать.

На Джима упал брус, и он вышел из строя в самом начале той недели, о которой шотландец капитан впоследствии говорил: «Я считаю чудом, что судно уцелело!» Много дней Джим пролежал на спине, оглушенный, разбитый, измученный, словно обретался в бездне покоя. Каков будет конец – его не интересовало, и в минуты просветления он переоценивал свое равнодушие. Опасность, когда ее не видишь, отличается несовершенством человеческой мысли. Страх становится глуше, а воображение, враг людей, ничем не подстрекаемое, тонет в тупой усталости.

Джим видел только свою каюту, приведенную в беспорядок качкой. Он лежал, словно замурованный; перед его глазами была картина опустошения в миниатюре; втайне он радовался, что ему не нужно идти на палубу. Но непобедимая тревога изредка зажимала в тиски его тело, заставляла задыхаться и корчиться под одеялом, и тогда тупая животная жажда жить, сопутствующая физическим мучениям, вызвала в нем отчаянное желание спастись какую бы то ни было ценой. Затем буря миновала, и он больше о ней не думал.

Однако он все еще хромал, и когда судно прибыло в один из восточных портов, Джиму пришлось лечь в госпиталь. Поправлялся он медленно, и судно ушло без него. Кроме Джима, в палате для белых было всего лишь двое больных: комиссар¹ с канонерки, который сломал себе ногу, свалившись в люк, и железнодорожный агент из соседней провинции, пораженный какой-то таинственной тропической болезнью. Доктора он считал ослом и злоупотреблял патентованным лекарством, которое приносил ему тайком его неутомимый и преданный слуга из Томила. Больные рассказывали друг другу эпизоды из своей жизни, играли в карты или, не снимая пижам, валялись по целым дням в креслах, зевали и не обменивались ни единым словом. Госпиталь стоял на холме, и легкий ветерок, врываясь в раскрытые окна, приносил в пустую комнату мягкий аромат неба, томный запах земли, чарующее дыхание восточных морей. Эти запахи словно говорили о вечном отдыхе и нескончаемых грезах.

Ежедневно Джим глядел на изгороди садов, крыши города, кроны пальм, окаймляющих берег, и дальше, туда на этот рейд – путь на Восток, глядел на рейд, украшенный гирляндами островов, залитый радостным солнечным светом, на корабли, маленькие, словно игрушечные, на суету сверкающего рейда. Суета эта напоминала языческий праздник, а вечно ясное восточное небо и улыбающееся спокойное море тянулись вдаль и вширь до самого горизонта.

¹ Заведующий хозяйством и казначей на судне.

Как только Джим стал ходить без палки, он отправился в город разузнать о возможности вернуться на родину. Оказии все не было, и, выжидая, он, разумеется, сошелся в порту с товарищами по профессии. Они делились на две категории. Одни – их было очень мало, и в порту их видели редко – жили жизнью таинственной; то были люди с неугасимой энергией, темпераментом корсаров и взглядом мечтателей. Казалось, они блуждали в лабиринте безумных планов, надежд, опасностей, предприятий, в стороне от цивилизации, в неведомых уголках моря; в их существовании смерть была единственным событием, казавшимся разумно завершенным. Большинство же состояло из людей, попав сюда, подобно самому Джиму, случайно стали офицерами на местных судах. Теперь они с ужасом смотрели на службу в родном флоте, где дисциплина была строже, долг – священнее, а суда обречены на штормы. Они полюбили вечный покой восточного неба и моря. Полюбили короткие рейсы, удобные кресла на палубе, многочисленную туземную команду и преимущество быть белыми. Их пугала мысль о тяжелой работе, и, полагаясь на милость других, они жили беззаботно, получая то отставку, то новое назначение.

Постоянно толковали они о случайных удачах: такой-то назначен командиром судна, плававшего у берегов Китая, – легкая работа; другому досталась прекрасное место где-то в Японии, а третий преуспевает в сиамском флоте. На всем, что бы они ни говорили, на всех их взглядах, манерах, поступках было пятно – знак гниения, решимость пройти свой путь в спокойствии и безопасности.

Джиму эта толпа болтливых моряков казалась сначала такой же нереальной, как тени. Но в конце концов он начал находить очарование в этих людях, видимо, преуспевающих, на чью долю выпадало так мало опасностей и труда. И презрение мало-помалу сменялось иным чувством. Внезапно, отказавшись от мысли вернуться на родину, он занял место первого помощника на «Патне».

«Патна» была местным старым пароходом, тощим, как борзая собака, и изъеденным ржавчиной. Владелец ее был китаец, фрахтовщиком – араб, а капитаном – немец из Нового Южного Валлиса, который на людях неустанно проклинал свою родину, но, видимо, подражая Бисмарку, тиранил всех, кого не боялся. Он разгуливал с видом свирепым и непоколебимым, да в придачу имел рыжие усы и багровый нос. После того, как «Патну» окрасили снаружи и побелили внутри, около восьмисот паломников были пригнаны на борт судна, разведшего пары у деревянного мола.

По трем сходням поднимались они на борт, подстрекаемые верой и надеждой на рай, поднимались, не обмениваясь ни одним словом, не озираясь назад; отойдя от перил, растеклись по всей палубе, спустились в зияющие люки, заполнили все уголки судна, как вода, наполняющая цистерну, как вода, поднимающаяся к краям сосуда. Восемьсот мужчин и женщин – каждый со своими надеждами, привычками, воспоминаниями – пришли сюда с севера, юга, с дальнего востока. Они пробирались по тропинкам в джунглях, спускались по течению рек, плыли в прау вдоль песчаных кос, переплывали в маленьких каноэ с острова на остров, страдали, испытывали неведомый доселе страх.

Все они шли к одной цели. Они пришли из одиноких хижин в джунглях, из многолюдных поселков, из приморских деревень. Бросили они свои леса, свое имущество и свою нищету, друзей юности и могилы отцов. Пришли, покрытые пылью и потом, в грязи, в лохмотьях, сильные мужчины во главе своих семей, тощие старики, идущие вперед, не надеясь на возвращение, пришли юноши с бесстрастными глазами, пугливые девочки со спутанными длинными волосами, робкие женщины, закутанные в покрывала и прижимающие к груди младенцев, обернутых в концы грязных головных покрывал, – спящих младенцев, бессознательных паломников взыскательной веры.

– Поглядите на них, – сказал немец шкипер новому своему помощнику.

Араб, глава этих благочестивых странников, явился последним. На борт он поднялся медленно, красивый, серьезный, в белом одеянии и большом тюрбане. За ним вереницей следовали слуги, тащившие его багаж. «Патна» отчалила от мола.

Проскользнув между двумя островками, она пересекла стоянку парусных судов, прорезала полукруг в тени, отброшенный камнем, потом близко подошла к покрытым пеной рифам. Стоя на корме, араб вслух читал молитву плавающих и путешествующих. Он призывал милость Всевышнего на это путешествие, молил благословить подвиг людей и тайные их стремления. В сумерках пароход рассек тихие воды пролива, а далеко за кормой паломнического судна маяк, поставленный неверными на предательской мели, казалось, подмигивал огненным глазом, словно насмехался над благочестивым паломничеством.

«Патна» вышла из проливов, пересекла залив и продолжала путь проливом «Один градус». Она направлялась к Красному морю под ясным, палящим и безоблачным небом, окутанным в блеск солнечного сияния, которое убивает мысли, иссушает всякую энергию и силу. А под зловещим сверканием неба синее и глубокое море оставалось неподвижным, – даже рябь не морщила его поверхности, – море липкое, стоячее, мертвое. «Патна» с легким шипением неслась по этой равнине, лучезарной и гладкой, развернула по небу черную ленту дыма, распустила за собой по воде белую ленту пены, которая тотчас же исчезала, словно призрачный след, начертанный на безжизненном море призрачным пароходом.

Каждое утро солнце поднималось, молчаливо извергая свет, всегда на одном и том же расстоянии от кормы судна, нагоняло его в полдень, изливая сгущенный огонь своих лучей на благочестивые стремления путников, затем уходило дальше на запад и таинственно погружалось в море каждый вечер на одном и том же расстоянии от носа «Патны». Пять белых на борту жили на середине судна, изолированные от человеческого груза. Над палубой с носа до кормы раскинулся белым сводом тент, и только слабое жужжание – тихий шепот грустных голосов – обнаруживало присутствие людей на ослепительной глади океана. Так сменялись дни, безмолвные, горячие, тяжелые, исчезая один за другим в прошлом, словно проваливаясь в пропасть, вечно зияющую в кильватере судна, а «Патна» упорно шла вперед, черная и дымящаяся, в лучезарном пространстве, словно опаленная пламенем; без сожаления это пламя лизало ее с неба. Ночи спускались на нее как благословение.

Глава III

Чудесная тишина объяла мир. Звезды, казалось, посылали на землю заверение в вечной безопасности. Молодой месяц, изогнутый, сверкающий низко на западе, походил на тонкую стружку, отделившуюся от золотого слитка. Аравийское море, ровное и казавшееся холодным, словно ледяная гладь, простиралось до темного горизонта. Винт вертелся непрерывно, как будто удары его являлись частью плана какой-то надежной вселенной, а по обе стороны «Патны» две глубокие складки воды протянулись, неподвижные, на мерцающей глади; между этими прямыми, расходящимися морщинами виднелось несколько белых завитков вскипающей пены, легкая рябь, зыбь и маленькие волны. Эти волны, оставшись позади, за кормой, секунду-другую шевелили поверхность моря, потом с мягким плеском успокаивались, объятые тишиной воды и неба, а черное пятно – движущееся судно – по-прежнему оставалось в самом центре тишины.

Джим, стоящий на мостике, был охвачен этой великой уверенностью в полной безопасности и спокойствии, запечатленных на безмолвном лице природы. Под тентом, доверяя мудрости белых людей, могуществу их неверия и железной скорлупе их огненного корабля, – паломники спали на циновках, на одеялах, на голых досках, на всех палубах, во всех закоулках, спали, завернувшись в окрашенные ткани, закутавшись в грязные лохмотья. Головы их покоились на маленьких узелках, а лица были прикрыты согнутыми руками; спали мужчины, женщины, дети, старые вместе с молодыми, дряхлые вместе со здоровыми, все равные перед лицом сна, брата смерти.

Струя воздуха, навеваемая с носа благодаря быстрому ходу судна, прорезала мрак между высокими бульварками, проносилась над рядами распростертых тел; тускло горели подвешенные к перекладинам круглые лампы, и в стертых кругах света, отбрасываемого вниз, виднелись задранный вверх подбородок, сомкнутые веки, темная рука с серебряными кольцами, худая нагота, закутанная в рваное одеяло, виднелась голова, откинутаая назад, голая ступня, шея, обнаженная и вытянутая, словно подставленная под лезвие ножа. Люди зажиточные устроили для своих семей уголки, огородились тяжелыми ящиками и пыльными циновками; бедные лежали бок о бок, а все свое имущество, завязанное в узел, засунули себе под головы; одинокие старики спали, подогнув колени, на ковриках, расстилаемых для молитвы, прикрывая руками уши; какой-то мужчина, втянув голову в плечи и лбом уткнувшись в колени, дремал подле растрепанного мальчика, который спал на спине, повелительно вытянув руку; женщина, прикрытая с головы до ног, словно покойница, белой простыней, держала в каждой руке по голому ребенку; имущество араба громоздилось на корме, а лампа, спускавшаяся сверху, тускло освещала груды наваленных вещей: виднелись пузатые медные горшки, клинки копий, прямые ножны старого меча, прислоненные к груде подушек, жестяной кофейник.

Патентованный лаг на поручнях кормы периодически выбивал отдельные звенящие удары, отмечая каждую миллю, пройденную судном. По временам над телами спящих всплывал слабый и терпеливый вздох – испарения тревожного сна; из недр судна внезапно вырывался резкий металлический стук: слышно было, как скребла лопата, с шумом захлопывалась дверца печи, словно люди, священнодействующие там, внизу, над чем-то таинственным, исполнены были ярости и гнева. Стройный, высокий кузов парохода мерно продвигался вперед, неподвижно застыли голые мачты, а нос упорно рассекал великий покой вод, спящих под недостижимым и ясным небом.

Джим шагал взад и вперед, и в необъятном молчании шаги его раздавались громко, словно настороженные звезды отзывались на них эхом. Глаза его, блуждая вдоль линии горизонта, как будто жадно вглядывались в недостижимое и не замечали тени надвигающегося

события. На море была только одна тень – тень от черного дыма, тяжело выбрасывающего из трубы широкий флаг, конец которого растворялся в воздухе. Два малайца, молчаливые и неподвижные, управляли рулем, стоя по обе стороны штурвала; медный обод колеса блестел в овальном пятне света, отбрасываемого лампой нактоуза. По временам черная рука, то отпуская, то снова сжимая спицы, показывалась на светлом пятне; звенья рулевых цепей тяжело скрежетали в полостях цилиндров.

Джим поглядывал на компас, окидывал взглядом далекий горизонт, потягивался так, что суставы трещали, лениво изгибался всем телом, охваченный сознанием собственного благополучия; ненарушимое спокойствие словно научило его дерзать; он чувствовал: что бы ни случилось с ним до конца его дней, ему до этого нет дела. Изредка он лениво бросал взгляды на карту, прикрепленную четырьмя кнопками к низкому трехногому столу, стоявшему позади рулевого футляра. При свете круглой лампы, подвешенной к стойке, лист бумаги, отображающий глубины моря, слегка отсвечивал; дно, изображенное на нем, было такое же ровное и гладкое, как мерцающая гладь вод. На карте лежала линейка для проведения параллелей и циркуль. Положение судна в полдень было отмечено маленьким черным крестиком, а твердая прямая линия, проведенная карандашом до Перима, обозначала курс судна, – тот путь, каким души влеклись к священному месту, к обещанному блаженству, к вечной жизни; карандаш, острием касаясь берега Сомали, лежал круглый и неподвижный, словно мяча, всплывшая в заводи защищенного дока.

«Какой мерный ход судна», – с удивлением подумал Джим, с какой-то благодарностью воспринимая великий покой моря и неба. В такие минуты мысли его вращались вокруг доблестных подвигов; он любил эти мечты и воображаемые свои успехи. То было самое ценное в жизни, тайная ее сущность, скрытая ее реальность. В этих мечтах была великолепная мужественность, они проходили перед ним героической процессией, они опьяняли его душу божественным напитком – безграничной верой в самого себя. Не было ничего, чему бы он не смог противостоять. Эта мысль так ему понравилась, что, глядя вперед, он улыбнулся; случайно оглянувшись, он увидел белую полосу кильватера, проведенную по морю килем судна, – полосу такую же прямую, как черная линия, нанесенная карандашом на карту.

Ведро с золой ударились о вентилятор топки, и этот металлический звук напомнил ему, что конец его вахты близок. Он вздохнул с облегчением, но пожалел, что приходится расстаться с невозмутимым спокойствием, открывающим свободу его мысли. Ему хотелось спать; он ощущал приятную истому во всем теле, казалось, вся кровь его превратилась в теплое молоко.

На мостик бесшумно поднялся шкипер; он был в пижаме, и расстегнутая куртка открывала голую грудь. Он не совсем еще проснулся; лицо у него было красное, левый глаз полузакрыт, правый, мутный, тупо вытаращен; свесив свою большую голову над картой, он сонно чесал себе бок. Было что-то непристойное в этом голом теле. Грудь его, мягкая и сальная, лоснилась. Он сделал какое-то замечание голосом хриплым и безжизненным, напоминавшим скрежещущий звук пилы; двойной подбородок его свисал, как мешок, подтянутый к самому основанию челюсти. Джим встрепенулся и ответил очень почтительно, но отвратительная мясистая фигура – казалось, он впервые увидел ее в минуту просветления – навсегда запечатлелась в его памяти как символ всего порочного и подлого, что таится в дорогом нам мире: в наших сердцах, которым мы вверяем наше спасение, в людях, нас окружающих, в картинах, развертывающихся перед нашими глазами, в звуках, касающихся нашего слуха, в воздухе, наполняющем наши легкие.

Тонкая золотая стружка месяца, медленно спускаясь, погрузилась в потемневшую воду, и вечность словно придвинулась к земле, ярче замерцали звезды, гуще стал блеск полупрозрачного купола, нависшего над плоским диском темного моря. Судно скользило так, что

движения вперед не ощущалось совсем, словно «Патна» была планетой, несущейся сквозь темные пространства эфира за роем солнц.

«Ну и пекло внизу», – раздался чей-то голос. Джим, не оборачиваясь, улыбнулся. Шкипер невозмутимо стоял, повернувшись широкой спиной; немец обычно сначала не замечал вашего присутствия, а затем, пожирая вас глазами, раздражался с пеной у рта потоком брани, вырывающимся словно из водосточной трубы. Сейчас он только что-то угрюмо проворчал. Второй механик поднялся на мостик и, вытирая влажные ладони грязной тряпкой, продолжал жаловаться, нимало не смущаясь. Морякам хорошо здесь наверху, а хотел бы он знать, какой от них толк? Ведут судно бедные механики, и они сумели бы справиться и со всем остальным; ей-богу, они...

– Замолчите! – тупо проворчал шкипер.

– Ну, разумеется! Замолчать! А если что неладно, вы сейчас же бежите к нам! – продолжал тот. – Он уже наполовину спекся там, внизу. Во всяком случае, теперь ему все равно, как бы он ни нагрешил: за последние три дня он получил представление о том местечке, куда после смерти отправляются дрянные людишки... ей-богу, получил... и вдобавок там внизу оглох от адского шума. Проклятое гнилое корыто грохочет и тарыхтит, словно старая лебедка на палубе. Он понятия не имеет, какого черта ему рисковать своей жизнью ночи и дни среди всей этой рухляди! Должно быть, он от рождения такой легкомысленный. Он...

– Где вы нализались? – осведомился немец.

Он злился, но стоял совершенно неподвижно, освещенный лампой нактоуза, похожий на массивную статую человека, вырезанную из глыбы жира.

Джим по-прежнему улыбался, глядя на отступающий горизонт.

– Нализался! – презрительно повторил механик; обеими руками он уцепился за поручни. – Да уж не вы меня напоили, капитан. Слишком вы скупы, ей-богу. Скорее уморите парня, чем предложите капельку влаги. Это у вас, немцев, называется экономией. На пенни ума, на фунт глупости.

Он расчувствовался. Часов в десять первый механик дал ему рюмочку... «все-навсего одну, ей-богу!» – добрый старичок, но теперь старого плута не стащить с койки, пятитонным краном его не поднять! Во всяком случае, не сегодня! Он спит невинным сном, словно младенец, а под подушкой у него покоится бутылка с первоклассным бренди. С уст командира «Патны» сорвалось ругательство, и слово «schwein» запорхало, как капризное перышко, подхваченное ветерком. Он и первый механик были знакомы много лет – вместе служили веселому, бодрому старику китайцу, носившему очки в роговой оправе и влетававшему красные шелковые тесемочки в свою седую косицу. В родном порту «Патны» жители побережья были того мнения, что эта парочка – шкипер и механик – по части плутовства друг другу не уступят. Внешне они гармонировали плохо: один – с мутными глазами, злобный и мясистый, другой – тощий, с головой длинной и костлявой, словно голова старой клячи, с впалыми щеками и висками, с ввалившимися стеклянными глазами.

Первого механика выбросило на берег где-то на востоке – в Кантоне, или Шанхае, или в Йокагаме, должно быть, он и сам не помнил, где именно и почему произошло крушение. Двадцать лет назад его из сострадания к его молодости спокойно вытолкнули с судна; пожалуй, тем хуже для него, что, вспоминая об этом эпизоде, он не испытывал ни малейшего сожаления. В то время в восточных морях начало развиваться пароходство, а так как людей его профессии вначале было мало, то он «сделал карьеру». Всем приезжим он грустным шепотом неуклонно сообщал, что он здешний «старожил». Когда он ходил, казалось, скелет болтается в его платье. Раскачиваясь, бродил он вокруг застекленного люка или машинного отделения, курил, набивал табаком медную чашечку, приделанную к четырехфутовому мундштуку из вишневого дерева, и держался с глупо-торжественным видом мыслителя, творящего философскую систему. Обычно он скупился и сохранял свой личный запас спирта только для

себя, но в ту ночь отказался от своих принципов. Поэтому второй механик от неожиданного угощения крепким напитком стал очень веселым, дерзким и болтливым: у молодого человека из Уэпинга голова была слабая.

Немец из Нового Южного Валлиса бесновался и сопел, а Джим, забавляясь этим зрелищем, с нетерпением ждал, когда можно будет спуститься вниз: последние десять минут вахты раздражали его. Этим людям не было места в мире героических приключений, хотя они, в сущности, и не плохие парни... Даже сам шкипер... Но тут Джим почувствовал отвращение при виде этой глыбы жира, испускающей бормотанье – поток гнусных ругательств; однако приятная усталость мешала ему ощущать активную неприязнь к кому бы то ни было. До этих людей ему не было дела, он работал с ними бок о бок, но коснуться его они не могли, он дышал одним с ними воздухом, но был иным человеком... Подерется ли шкипер с механиком?.. Жизнь казалась легкой, и он был слишком в себе уверен, слишком уверен, чтобы... Черта, отделявшая его размышления от дремоты, стала тоньше паутинки.

Второй механик незаметно перешел к рассуждениям о своем финансовом положении и своем мужестве.

– Кто пьян? Я? Ничего подобного, капитан! Пора уж вам знать, что наш первый механик не слишком-то щедр и даже воробья допьяна не напоит, ей-богу! На меня алкоголь никогда не действовал; нет такого зелья, от которого бы я опьянел! Давайте пить на пари – вы пьете виски, а я жидкий огонь, и, ей-богу, я останусь свежим как огурчик. Хоть сейчас! А с мостика я не уйду. Где мне подышать свежим воздухом в такую ночь, как сегодня? Там, внизу, на палубе, со всяким сбродом? И не подумаю! Чего мне вас бояться?

Немец взвел тяжелые кулаки к небу и безмолвно потряс ими.

– Я *ничего* не боюсь, – продолжал механик с неподдельным энтузиазмом. – Я не боюсь проклятой работы на этом гнилом судне. Счастье для вас, что на свете есть такие люди, которые не дрожат за свою шкуру... иначе – что бы вы без нас делали, вы и эта старая посудина с обшивкой из просмоленной бумаги?.. Вам-то хорошо, вы из нее вытягиваете монету, а мне что прикажете делать? Сколько я получаю? Жалкие сто пятьдесят долларов в месяц! Почтительно спрашиваю вас, почтительно, заметьте, кто станет цепляться за такую проклятую работу? И дело опасное! Но я один из тех бесстрашных парней...

Он выпустил поручни и стал размахивать руками, словно желая нагляднее продемонстрировать свое мужество, его тонкий голос взлетал над морем, он встал на цыпочки, чтобы резче подчеркнуть фразу, и вдруг полетел вниз головой, как будто его сзади подшибли палкой. Падая, он крикнул: «Черт возьми!» За этим воплем последовало минутное молчание. Джим и шкипер оба пошатнулись, но удержались на ногах и, выпрямившись, с изумлением поглядели на невозмутимую гладь моря. Потом взглянули вверх, на звезды.

Что случилось? По-прежнему раздавался заглушенный стук машин. Быть может, земля споткнулась на пути своем? Они ничего не понимали, и вдруг тихое море, безоблачное небо показались жутко ненадежными в своей неподвижности.

Механик поднялся во весь рост и снова съехал в неясный комок. Комок заговорил сдавленным голосом:

– Что это?

Тихий шум, будто бесконечно далекие раскаты грома, слабый звук – не вибрация ли воздуха, – и судно задрожало в ответ, как будто гром грохотал глубоко под водой. Два малайца у штурвала, блеснув глазами, поглядели на белых людей, но темные руки по-прежнему сжимали спицы. Острый кузов судна, стремясь вперед, казалось, постепенно приподнимался на несколько дюймов, словно сделался гибким, потом снова опускался и по-прежнему неуклонно рассекал гладкую поверхность моря. Дрожь прекратилась, и сразу смолкли слабые раскаты грома, как будто судно оставило за собой узкую полосу вибрирующей воды и звучащего воздуха.

Глава IV

Месяц спустя, когда Джим, в ответ на прямые вопросы, пытался рассказать о происшедшем, он заметил, говоря о судне: «Оно прошло через что-то так же легко, как переползает змея через палку».

Сравнение было хорошее. Допрос клонился к освещению фактической стороны дела, разбиравшегося в административном суде одного восточного порта. С пылающими щеками Джим стоял на возвышении в прохладной высокой комнате; большие пунки² тихо вращались вверху, над его головой, а снизу смотрели на него глаза, в его сторону повернуты были лица – темные, белые, красные, – лица внимательные, словно все эти люди, сидевшие на узких скамейках, были загипнотизированы его голосом. А голос его звучал четко, и Джиму он казался жутким, – то был единственный звук, который слышен был во всей вселенной, ибо вопросы, исторгавшие у него ответы, как будто складывались в его груди, тревожные, острые и безмолвные, как жуткие вопросы совести. Солнце пламенело снаружи, а здесь ветер, нагнетаемый пунками, вызывал дрожь; от стыда бросало в жар, кололи внимательные глаза. Лицо председателя суда, гладко выбритое, бесстрастное, казалось мертвенно-бледным рядом с красными лицами двух морских асессоров³. Сверху, из широкого окна под потолком, падал свет на головы и плечи трех людей, и они отчетливо выделялись в полумраке большой комнаты, где аудитория словно состояла из призраков с остановившимися глазами. Им нужны факты. Факты! Как будто факты могут все объяснить.

– Решив, что вы натолкнулись на что-то, ну, скажем, на обломок судна, вам капитан приказал идти на нос и разузнать, нет ли каких-нибудь повреждений. Считали ли вы это вероятным, принимая во внимание силу удара? – спросил асессор, сидевший слева. У него была жидкая борода, по форме напоминавшая подкову, и выдающиеся вперед скулы; опираясь локтями о стол, он сжимал свои волосатые руки и смотрел в упор на Джима задумчивыми голубыми глазами. Второй асессор, грузный мужчина с презрительной физиономией, сидел откинувшись на спинку стула; вытянув левую руку, он барабанил пальцами по блокноту. Посредине председатель в широком кресле склонил голову на плечо и скрестил руки на груди; рядом с его чернильницей стояла стеклянная вазочка с цветами.

– Нет, не считал, – сказал Джим. – Мне приказано было никого не звать и не шуметь, во избежание паники. Эта предосторожность казалась мне разумной. Я взял одну из ламп, висевших под тентом, и пошел на нос. Открыв люк в носовое отделение переднего трюма, я услышал плеск воды. Тогда я спустил лампу, насколько позволяла веревка, и увидел, что носовое отделение наполовину залито водой. Тут я понял, что где-то ниже ватерлинии образовалась большая пробоина.

Он замолчал.

– Так... – протянул грузный асессор, с мечтательной улыбкой глядя в блокнот; он все время барабанил пальцами, бесшумно прикасаясь к бумаге.

– В тот момент я не думал об опасности. Должно быть, я был взволнован: все это произошло так неожиданно. Я знал, что на судне нет другой переборки, кроме предохранительной, отделяющей носовую часть от переднего трюма. Я пошел назад доложить капитану. У трапа я столкнулся со вторым механиком; он как будто бы был оглушен и сказал мне, что, кажется, сломал себе левую руку. Спускаясь вниз, он поскользнулся на верхней ступеньке и упал в то время, как я был на носу. Механик воскликнул: «Боже мой! Эта гнилая переборка через минуту рухнет, и проклятое корыто, словно глыба свинца, пойдет вместе с нами ко

² Вентиляторы на Востоке.

³ Судят совместно с судьей – то же, что у нас заседатели.

дну». Он оттолкнул меня правой рукой и, опередив, с криком взбежал по трапу. Я следовал за ним и видел, как капитан на него набросился и повалил на спину. Он его не бил, а наклонился к нему и стал сердито, но очень тихо что-то ему говорить. Думаю, он его спрашивал, почему он не пойдет и не остановит машин вместо того, чтобы поднимать этот крик. Я слышал, как он сказал: «Вставай! Беги живей!» – и выругался. Механик сбежал вниз и обогнул застекленный люк, направляясь к трапу машинного отделения на левом борту. На бегу он стонал...

Джим говорил медленно, воспоминания были удивительно отчетливы; если бы эти люди, требующие фактов, пожелали, – он мог бы, как эхо, воспроизвести даже стоны механика. Когда улеглось вспыхнувшее возмущение, он пришел к выводу, что лишь мелочная точность рассказа может обнаружить подлинный ужас, скрытый за жутким ликом событий. Факты, какие нужны этим людям, были видимы, осязаемы, ощутимы, занимали место во времени и пространстве. Но, помимо этого, было и что-то иное, невидимое, – дух, ведущий к гибели, – словно злобная душа в отвратительном теле. И это ему хотелось установить. Событие не было обычным. Каждая мелочь имела величайшее значение, и, к счастью, он запомнил все. Он хотел говорить во имя истины, быть может, также ради себя самого; слова его были обдуманы, а мысль металась в сжатом круге фактов, обступивших его, чтобы отрезать от всех остальных людей; он походил на животное, которое, очутившись за высокой изгородью, обезумев, бежит по кругу, ищет какую-нибудь щель, дыру, куда можно пролезть и спастись. Эта напряженная работа мысли заставляла его по временам запинаться...

– Капитан по-прежнему ходил взад и вперед по мостику, на вид он был спокоен, но несколько раз споткнулся. Когда я с ним заговорил, он, словно слепой, на меня наткнулся. Толком он ничего мне не ответил. Он что-то бормотал про себя, я разобрал несколько слов: «проклятый пар!» и «дьявольский пар!» – словом, что-то о паре. Я подумал...

Джим становился непочтительным; новый вопрос о фактической стороне дела оборвал его речь, словно судорога боли, и его охватило бесконечное уныние и усталость. Он приближался к этому... приближался... и теперь, грубо оборванный, должен был отвечать – да или нет. Он ответил правдиво и кратко: «Да». Красивый, высокий, с юношескими мрачными глазами, он стоял выпрямившись на возвышении, а душа его стонала от муки. Ему пришлось дать ответ еще на один вопрос по существу, и снова он ждал. Во рту у него пересохло, словно он наглотался пыли, затем он ощутил горько-соленый вкус морской воды. Он вытер влажный лоб, смочил языком сухие губы, почувствовал, как дрожь пробежала у него по спине.

Грузный ассессор опустил ресницы, он беззвучно барабанил по блокноту; глаза второго ассессора, переплетавшего загорелые пальцы, казалось, излучали ласку; председатель слегка наклонился, бледное лицо его приблизилось к цветам. Ветер, нагнетаемый пунками, обвевал темнолицых туземцев, закутанных в широкие одеяния, распаренных европейцев, сидевших рядом на скамьях, держа на коленях свои круглые пробковые шляпы; тиковые костюмы облегали их тела плотно, как кожа. Вдоль стен шныряли босоногие туземцы-констебли, затянутые в длинные белые одежды; в красных поясах и в красных тюрбанах, они бегали взад и вперед, бесшумные, как призраки, и, подобно гончим, проворные.

Глаза Джима остановились на белом человеке, сидевшем в стороне; лицо у него было усталое, но спокойные глаза смотрели в упор, оживленные и ясные. Джим ответил на следующий вопрос и почувствовал искушение крикнуть: «Что толку в этом? Что толку?» Но он не крикнул, закусил губу и посмотрел на слушателей, сидящих на скамьях. Он встретился взглядом с белым человеком. Глаза последнего были непохожи на остановившиеся глаза остальных. В этом взгляде была воля. Джим во время паузы между двумя вопросами забылся до того, что стал размышлять.

«Этот парень, – думал он, – глядит на меня так, словно видит кого-то за моим плечом». Где-то он видел этого человека, быть может, на улице, но был уверен, что никогда с ним не говорил. Много дней он не говорил ни с кем, – лишь с самим собой вел молчаливый

и нескончаемый разговор, словно узник в одиночной камере или путник, заблудившийся в пустыне. Сейчас он отвечал на вопросы, лишённые всякого значения, хотя и преследующие определенную цель, и размышлял о том, заговорит ли он еще когда-нибудь в своей жизни. Звук его собственных правдивых слов подтверждал ту мысль, что дар речи ему больше не нужен. Тот человек как будто понимал мучительность его положения. Джим взглянул на него, затем решительно отвернулся, словно навеки с ним распрощавшись.

Не раз впоследствии, в далеких уголках земли, Марлоу с охотой вспоминал о Джиме, вспоминал подробно и вслух.

Случалось это после обеда, на веранде, задрапированной неподвижной листвой и увенчанной цветами, в глубоких сумерках, исколотых огненными точками сигар. В тростниковых креслах сидели молчаливые слушатели. Изредка маленькое красное пятнышко поднималось и, разгораясь, освещало пальцы вялой руки или вспыхивало красноватым блеском в задумчивых глазах, озаряя кусочек гладкого лба. Едва начав говорить, Марлоу спокойно вытягивался в кресле и сидел совершенно неподвижно, словно окрыленный дух его возвращался в глубь времен и прошлое вещало его устами.

Глава V

– Я был на разборе дела, – говорил он, – и теперь еще удивляюсь, зачем я пошел. Я готов верить, что каждый из нас имеет своего ангела-хранителя, но, согласитесь и вы со мной, к каждому из нас приставлено и по дьяволу. Я требую, чтобы вы это признали, ибо не желаю быть человеком исключительным, а я знаю: он у меня есть – дьявол, хочу я сказать. Конечно, я его не видел, но доказательства у меня имеются! Он ко мне приставлен, а так как по природе своей он зол, то и впутывает меня в подобные истории. Какие истории? – спросите вы. Ну, скажем, судебное следствие, история с желтой собакой... Вы считаете невероятным, чтобы облезлой туземной собаке разрешили подвергаться под ноги людям на веранде того дома, в котором находится суд... Вот какими путями – извилистыми, поистине дьявольскими – заставляет он меня наталкиваться на людей с уязвимыми местечками, со скрытыми пятнами проказы. Клянусь Юпитером, при виде меня языки развязываются, и начинаются признания, – как будто мне самому не в чем себе признаться, как будто у меня не найдется таких признаний, над которыми я могу мучиться до конца жизни! Хотелось бы знать, чем я заслужил такую милость! Примите к сведению, что у меня забот не меньше, чем у всякого другого, а воспоминаний столько же, сколько у рядового паломника в этой долине. Как видите, я не особенно пригоден для выслушивания признаний. Так в чем же дело? Не знаю... быть может, это нужно лишь для того, чтобы скоротать время после обеда. Чарли, дорогой мой, ваш обед был очень хорош, и, в результате, этим господам спокойный роббер кажется утомительным и шумным занятием. Они развалились в ваших удобных креслах и думают: «К черту всякие упражнения! Пусть Марлоу рассказывает».

Значит, рассказывать! Пусть так!

Нетрудно говорить о мистере Джиме после хорошего обеда, находясь на высоте двухсот футов над уровнем моря, когда под рукой ящик с приличными сигарами, а вечер прохладен и залит звездным светом. При таких условиях даже лучшие из нас могли позабыть о том, что здесь мы находимся лишь на испытании, должны пробивать себе дорогу под перекрестными огнями, следить за каждой драгоценной минутой, за каждым непоправимым шагом, веря, что в конце концов нам все-таки удастся выпутаться прилично; однако подлинной уверенности у нас нет, и чертовски мало помощи могут нам оказать те, с кем мы сталкиваемся.

Впервые я встретился с ним взглядом на этом судебном следствии. Все те, кто в той или иной мере были связаны с морем, находились там, в суде, ибо еще задолго вокруг этого дела поднялся шум – с того самого дня, как пришла таинственная телеграмма из Эдена, вызвавшая столько пересудов. Я говорю «таинственная», хотя она и преподносила всего лишь голый факт – такой безобразный, каким могут быть только факты. Все побережье ни о чем ином не говорило. Начать с того, что, одеваясь утром в своей каюте, я услышал через переборку, как мой парс Дубаш лопотал с баталером о «Патне». Не успел я сойти на берег, как уже встретил знакомых, задавших мне вопрос: «Приходилось ли вам слышать о чем-нибудь более поразительном?» И, смотря по темпераменту, они улыбались цинично, принимали грустный вид либо раздражались ругательствами. Люди, совершенно незнакомые, фамильярно заговаривали для того только, чтобы изложить свой взгляд на это дело. Те же речи вы слышали и в управлении порта и у каждого судового маклера, от вашего агента, от белых, от туземцев, даже от полуголых лодочников, сидящих на корточках на каменных ступенях мола. Иные негодовали, многие шутили, и все без конца обсуждали вопрос, что же, собственно, с ними произошло. Вы знаете, кого я имею в виду.

Прошло недели две, если не больше, и все стали склоняться к тому мнению, что это таинственное дело обернется трагической стороной. И тут, в одно прекрасное утро, стоя в тени у ступеней управления порта, я увидел четырех людей, шедших мне навстречу по

набережной. Я подивился, откуда взялась такая странная компания, и вдруг, если можно так выразиться, возопил мысленно: «Да ведь это они!»

Да, действительно, это были они – трое крупных мужчин, а один такой толстый, каким человеку быть непристойно. Сытно позавтракав, они только что высадились с идущего за границу парохода Северной линии, который вошел в гавань час спустя после восхода солнца. Сомнений быть не могло: с первого же взгляда я узнал веселого шкипера «Патны» – самого толстого человека в тропиках, поясом обвивающих нашу славную старушку-землю. Месяцев девять назад я повстречался с ним в Самаранге. Пароход его грузился на рейде, а он ругал учреждения германской империи и по целым дням накачивался пивом в задней комнате при лавке де-Джонга; наконец, де-Джонг, который, и глазом не моргнув, лупил гульден за бутылку, отозвал меня в сторонку и, сморщив свое маленькое, обтянутое кожей лицо, заявил: «Торговля – торговлей, капитан, но от этого человека меня мутит. Тьфу!»

Стоя в тени на набережной, я смотрел на толстяка. Он несколько опередил своих спутников, и солнечный свет, ударяя прямо в него, особенно резко подчеркивал его толщину. Он походил на дрессированного слоненка, разгуливающего на задних ногах. Костюм его был красочен: запачканная пижама с ярко-зелеными и оранжевыми полосами, рваные соломенные туфли на босу ногу и чей-то очень грязный и выброшенный за ненадобностью пробковый шлем, который был ему мал и держался на большой его голове с помощью манильской веревки. Вы понимаете, что такому человеку не повезет, если дело дойдет до переодевания в чужое платье. Итак, он стремительно летел вперед, не глядя ни направо, ни налево, прошел в трех шагах от меня и атаковал лестницу, ведущую в управление порта, чтобы сделать свой доклад.

По-видимому, он прежде всего обратился к помощнику начальника порта. Арчи Рутвел только что пришел в управление и, как он впоследствии рассказывал, собирался начать свой трудовой день с нагоняя главному своему клерку. Каждый из вас должен знать этого клерка – услужливого маленького португальца-полукровку с тощей шеей, вечно старающегося выудить у шкиперов что-нибудь съестное: кусок солонины, мешок с сухарями либо что другое. Помню, один раз я подарил ему живую овцу, оставшуюся от моих судовых запасов. Меня растрогала его детская вера в священное право на побочные доходы. По силе своей это чувство было едва ли не прекрасно. Черта расовая – двух рас, пожалуй, – да и климат имеет значение. Однако это к делу не относится. Во всяком случае, я знаю, где мне искать истинного друга.

Итак, Рутвел говорит, что читал ему суровую проповедь, – полагаю, на тему о морали должностных лиц, – когда услышал за своей спиной чьи-то заглушенные шаги и, повернув голову, увидел что-то круглое, похожее на сахарную голову, завернутую в полосатую фланель и вздымающуюся по середине просторной канцелярии. Рутвел был до того ошеломлен, что очень долго не мог сообразить, живое ли перед ним существо, и дивился, какого черта этот предмет водрузился перед его конторкой. За аркой, выходящей в переднюю, толпились слуги, приводившие в движение пунку, туземцы-констебли, боцман и команда портового катера; все они вытягивали шеи и напирали друг на друга. Подлинное столпотворение. Тем временем толстый парень ухитрился снять с головы шляпу и с легким поклоном приблизился к Рутвелу, на которого это зрелище так подействовало, что он слушал и долго не мог понять, чего хочет этот призрак. Он вещал голосом хриплым и замогильным, но держался неустрашимо, и мало-помалу Арчи стал понимать, что дело о «Патне» принимает новый оборот. Как только он сообразил, кто перед ним стоит, ему сделалось не по себе. Арчи такой чувствительный, но он взял себя в руки и крикнул:

– Довольно! Я не могу вас выслушать. Вы должны идти к начальнику порта... Капитана Эллиота – вот кого вам нужно. Сюда, сюда!

Он вскочил, обежал вокруг длинной конторки и стал подталкивать толстяка; тот, удивленный, сначала повиновался, и только у двери кабинета какой-то животный инстинкт подсказал ему поостеречься; он уперся и зафыркал, словно испуганный бычок:

– В чем дело? Пустите меня! Послушайте!

Арчи без стука распахнул двери.

– Капитан «Патны», сэр! – крикнул он. – Пожалуйте, капитан.

Он видел, что старик, что-то писавший, резко приподнял голову, и пенсне слетело у него с носа. Арчи захлопнул дверь и бросился к своей конторке, где его ждали бумаги, принесенные на подпись. Но шум, поднявшийся за дверью, был таков, что он не мог прийти в себя и вспомнить, как пишется его собственное имя. Арчи – самый чувствительный помощник начальника порта на обоих полушариях. Он говорил, что чувствовал себя так, как будто впихнул человека в логовище голодного льва. Действительно, шум поднялся страшный. Я не сомневаюсь, что крики были слышны на другом конце площади. Старый Эллиот имел богатый запас слов, оратор умел и не думал о том, на кого кричит. Он стал бы кричать и на самого вице-короля. Частенько он мне говаривал: «Занять более высокий пост не могу. Пенсия мне обеспечена. Кое-что я отложил, и если им не нравится мое представление о долге, я охотно отправлюсь на родину. Я старик, и всю свою жизнь я выкладывал все, что было у меня на уме. Теперь я хочу только одного: чтобы дочери мои вышли замуж, пока я жив».

То был его пунктик помешательства. Три его дочери удивительно на него походили, но, как это ни странно, были очень хорошенькие. Иногда, проснувшись утром, он приходил к безнадежным выводам по вопросу об их замужестве, и вся канцелярия, по глазам угадав его мрачные мысли, трепетала, ибо, по словам подчиненных, в такие дни он непременно требовал себе кого-нибудь на завтрак. Однако в то утро он не съел немца, но, если разрешите мне продолжать метафору, разжевал его основательно и... выплюнул.

Через несколько минут я увидел, как толстяк торопливо спустился с лестницы и остановился на ступенях подъезда. Он стоял подле меня, погруженный в глубокое размышление; его толстые багровые щеки дрожали. Он кусал большой палец, вскоре заметил меня и искоса бросил раздраженный взгляд. Остальные трое, высадившиеся вместе с ним на берег, ждали поодаль. У одного из них – желтолицего вульгарного человечка рука была на перевязи, другой – долговязый, в синем фланелевом пиджаке, с седыми свисающими усами, худой, как палка, озирался по сторонам с самодовольно-глупым видом. Третий – стройный, широкоплечий юноша засунул руки в карманы и повернулся спиной к двум остальным, которые о чем-то разговаривали. Он смотрел на пустынную площадь. Ветхая, запыленная гхарри с деревянными жалюзи остановилась как раз против группы; извозчик, положив правую ногу на колено, созерцал свои пальцы. Молодой человек, не двигаясь, смотрел прямо перед собой.

Так я впервые увидел Джима. Он выглядел таким равнодушным и неприступным, какими бывают только юноши. Стройный, аккуратно одетый, он твердо стоял на ногах – один из самых располагающих к себе мальчиков, каких мне когда-либо приходилось видеть; и, глядя на него, зная все, что знал он, и еще кое-что, ему неизвестное, я почувствовал злобу, словно он притворялся, думая этим притворством чего-то от меня добиться. Он не смел выглядеть таким чистым и честным. Мысленно я сказал себе: «Что же, если и такие мальчики могут сбиться с пути, тогда...» От возмущения я готов был швырнуть свою шляпу на землю и растоптать ее, как сделал однажды на моих глазах шкипер итальянской баржи, когда его негодяй помощник запутался с якорями, собираясь отшвартоваться на рейде, где стояло много судов. Я спрашивал себя, видя Джима таким спокойным: «Глуп он или груб до бесчувствия?» Казалось, он вот-вот начнет насвистывать. Прошу заметить: меня нимало не интересовало поведение двух других. Они как-то соответствовали рассказу, который сделался достоянием всех и послужил основанием официального следствия.

– Этот старый негодяй, там, наверху, обозвал меня подлецом, – сказал капитан «Патны».

Узнал ли он меня? Думаю, что да; во всяком случае, взгляды наши встретились. Он сверкал глазами, я улыбался; «подлец» было самым мягким приветствием из всех вылетевших в открытое окно и коснувшихся моего слуха.

– Неужели? – сказал я, почему-то не сумев придержать язык за зубами.

Он кивнул утвердительно, снова укусил себя за палец и тихонько выругался; затем посмотрел на меня с мрачным бесстыдством и воскликнул:

– Ба! Тихий океан велик! Вы, проклятые англичане, можете делать все, что вам угодно. Я знаю, где найдется место для такого человека, как я; меня хорошо знают в Апия, в Гонолулу, в...

Он приостановился, а я легко мог себе представить, какие люди знают его в тех местах. Скрывать нечего – я сам знаком с этой породой. Бывает время, когда человек должен поступать так, словно жизнь одинаково приятна во всякой компании. Я через это прошел и теперь не хочу с гримасой вспоминать об этой необходимости. Многие из этой дурной компании – за неимением ли морального... как бы это сказать... морального положения или по иным не менее важным причинам – вдвое поучительнее и в двадцать раз занимательнее, чем те обычные почтительные коммерческие воры, которых вы, господа, у себя принимаете. А ведь подлинной необходимости так поступать у вас нет. Вами руководит привычка, трусость, добродушие и сотня других скрытых и разнообразных побуждений.

– Вы, англичане, все поголовно – негодяи, – продолжал патриот-австралиец из Фленсборга или Штеттина (право, сейчас я не припомню, какой маленький порт у берегов Балтики осквернился, породив эту редкую птицу). – Чего вы орете? А? Ничуть вы не лучше других народов, а этот старый негодяй черт знает как на меня раскричался.

Вся его туша тряслась с головы до ног.

– Вот так вы, англичане, всегда поступаете: шумите, кричите из-за всякого пустяка, потому только, что я не родился в вашей проклятой стране. Берите мое свидетельство. Такой человек, как я, не нуждается в вашем проклятом свидетельстве. Плевать мне на него!

Он плюнул.

– Я приму американское подданство! – кричал он с пеной у рта, беснуясь и шаркая ногами, словно пытался высвободить свои лодыжки из каких-то невидимых тисков, которые не позволяли ему сойти с места. Он так разгорячился, что макушка его головы буквально дымилась. Меня удерживало любопытство – самая яркая из всех эмоций, и я не уходил, – я хотел знать, как примет новости тот юноша, который, засунув руки в карманы и стоя спиной к тротуару, взирал поверх зеленых клумб площади на желтый портал отеля «Малабар». Он взирал с видом человека, собиравшегося прогуляться, и словно ждал только, чтобы друг к нему присоединился. Вот каким он выглядел, и это было отвратительно. Я ждал. Я думал, что он будет потрясен, пришиблен, станет корчиться, как посаженный на булавку жук... И... я почти боялся это увидеть.

Не знаю, понятно ли вам, что я хочу сказать. Нет ничего ужаснее, как следить за человеком, уличенным не в преступлении, но в слабости более чем преступной. Самая элементарная порядочность препятствует нам совершать преступления, но от слабости неведомой, а может быть, лишь подозреваемой, от слабости скрытой, за которой можно следить или не следить, вооружаться против нее или мужественно ее презирать, – от этой слабости ни один из нас не застрахован. Нас втягивает в ловушку, и мы совершаем поступки, за которые нас ругают, поступки, за которые нас вешают, и, однако, дух может выжить – пережить осуждение и, клянусь Юпитером, пережить повешение. А бывают проступки – иной раз они кажутся совсем незначительными, – которые кое-кого из нас убивают.

Я наблюдал за этим юношей, мне нравилась его внешность; таких, как он, я знал, – устои у него были хорошие. Он как бы являлся представителем всех сродных ему людей – мужчин и женщин, о которых не скажешь, что они умны или талантливы, но живут они честно и мужественно. Я имею в виду не военное, гражданское или какое-либо особое мужество, я говорю о врожденной способности смело смотреть в лицо искушению, о силе сопротивления, не изящной, если хотите, но ценной, о бездумном и блаженном упорстве перед ужасами в самом себе и вовне, перед властью природы и заманчивым развратом людей... Такое упорство держится на вере, и ее не сокрушат ни факты, ни дурной пример. Все это прямого отношения к Джиму не имеет, но внешность его была так типична для тех добрых, глупых малых, с которыми чувствуешь себя приятно, – людей, не тревожимых капризами ума и, скажем, развращенностью нервов. Такому человеку вы по одному его виду доверили бы палубу – говорю образно и как профессионал. Я бы доверил, а мне полагается это знать. Разве я в свое время не обучал юношей хитростям моря – хитростям, весь секрет которых можно выразить в одной короткой фразе, и, однако, каждый день нужно заново внедрять их в молодые головы.

Ко мне море было великодушно, но когда я вспоминаю всех этих мальчиков, прошедших через мои руки – иные теперь уже взрослые, иные утонули, но все они были славными моряками, – тогда мне кажется, что и я у моря в долгу не остался. Вернись я завтра на родину, ручаюсь, что и двух дней не пройдет, как какой-нибудь загорелый молодой штурман поймает меня в воротах дока, и свежий глубокий голос прозвучит над моей головой: «Помните меня, сэр? Как! Да ведь я такой-то. Был совсем желторотым юнцом на таком-то судне. То было первое мое плавание». Уверяю вас, радостно это испытать. Вы чувствуете, что хоть однажды в жизни правильно подошли к работе. Говорю вам, мне полагается распознавать людей по виду. Бросив только один взгляд на этого юношу, я бы доверил ему палубу и заснул сладким сном. А оказывается, это было бы небезопасно. Страшно становилось об этом думать. Он выглядел таким же естественным и не фальшивым, как новенький содерен; однако в его металле была какая-то дьявольская лигатура. Сколько же? Совсем немного, крохотная капелька чего-то редкого и проклятого, крохотная капелька. Однако, когда он так стоял с видом «на все наплевать», вы начинали думать: «уж не отчеканен ли он весь из меди».

Поверить этому я не мог. Говорю вам, я хотел видеть, как он будет страдать – ведь есть же профессиональная честь. Двое других – эти парни не идут в счет – заметили своего капитана и стали медленно к нам приближаться. Они переговаривались на ходу, а я их не замечал, словно они были невидимы невооруженному глазу. Они усмехались, быть может, обменивались шутками. У одного из них была сломана рука; другой – долговязый субъект с седыми усами – был главный механик, личность во многих отношениях замечательная. Для меня они оба были ничто. Они подошли к нам. Шкипер тупо уставился в землю; казалось, от какой-то страшной болезни, неведомого яда он распух, принял неестественные размеры. Он поднял голову, увидел этих двоих, остановившихся перед ним, и, презрительно скривив свое раздутое лицо, открыл рот, – должно быть, хотел с ними заговорить. Но тут какая-то мысль вдруг пришла ему в голову. Толстые багровые губы беззвучно сжались, решительно зашагал он вперевалку к гхарри и начал дергать дверную ручку с таким злобным нетерпением, что, казалось, все сооружение вот-вот вместе с пони повалится набок.

Возница, оторванный от исследования своей ступни и уцепившись обеими руками за козлы, повернулся и стал смотреть, как огромная туша ввалилась в его повозку. Маленькая гхарри тряслась, а розовая складка на опущенной шее, огромные ляжки, полосатая спина и мучительные усилия этой пестрой туши влезть в нору производили впечатление чего-то нереального, смешного и жуткого, как гротескные видения во время лихорадки. Он исчез. Я ждал, что маленький ящик на колесах лопнет, словно спелый стручок, но он только осел, заскрипели рессоры, и внезапно опустились жалюзи. Показались плечи шкипера, голова

его пролезла наружу, огромная, раскачивающаяся, словно воздушный шар на привязи, плотная, фыркающая, злобная. Он замахнулся на возницу толстым кулаком, красным, как кусок сырого мяса, и заревел на него, приказывая трогаться в путь. Куда? В Тихий океан?

Возница занес хлыст, пони захрапел, поднялся было на дыбы, затем галопом понесся вперед. В Апиа? В Гонолулу? У шкипера было в запасе шесть тысяч миль тропиков, а точного адреса я не слышал. Фыркающий пони в одно мгновение унес его в «вечность», и больше я его не видел. Этого мало: я не видел никого, кто бы встречал его с тех пор, как он исчез из поля моего зрения, сидя в ветхой маленькой гхарри, которая завернула за угол, оставив за собой целое облако пыли. Он уехал, исчез, испарился, и особенно нелепым казалось то, что он как будто прихватил с собой и гхарри, ибо ни разу не видел я с тех пор гнедого пони с разорванным ухом и темного возницу из Тамилы, исследующего свою большую ступню. Тихий океан и в самом деле велик, но, – нашел ли шкипер арену для развития своих талантов или нет, – факт остается фактом: он умчался в пространство, точно ведьма на помеле. Маленький человечек с рукой на перевязи пустился было за экипажем, блея на бегу: «Капитан! Эй, капитан! Послушайте!» Но, пробежав несколько шагов, остановился, опустил голову и побрел назад. Когда задребезжали колеса, молодой человек, стоявший поодаль, круто повернулся. Больше никаких движений он не делал и снова застыл на месте.

Все это произошло значительно скорее, чем я рассказываю. Через секунду на сцене появился клерк-полукровка, посланный Арчи заняться моряками с «Патны». Преисполненный усердия, он выскочил без шапки, озираясь направо и налево. Миссия его была обречена на неудачу, поскольку дело касалось главной персоны, однако он суетливо приблизился к оставшимся и почти тотчас же завязал разговор с парнем, у которого рука была на перевязи. Как оказалось, парень стремился затеять ссору. Он заявил, что не желает подчиняться приказаниям – «ну, нет, черт побери». Его не запугаешь врачами. Он не намерен выслушивать грубости от «подобной личности», даже если тот и не врет. У него есть твердое решение – лечь в постель.

«Не будь вы проклятым португальцем, – услышал я его крик, – вы бы поняли, что госпиталь – единственное подходящее для меня место».

Он поднес здоровый кулак к носу своего собеседника. Стала собираться толпа; клерк растерялся, но, делая все возможное, чтобы не уронить своего достоинства, пробовал объяснить. Я ушел, не дождавшись конца.

Случилось так, что в то время в госпитале лежал один из моих матросов; за день до начала следствия я зашел его проведать и увидел в палате того самого маленького человека; он метался, бредил, и рука его была в лубке. К величайшему моему изумлению, долговязый субъект с обвисшими седыми усами также ютился в госпитале. Помню, я обратил внимание, как он улизнул во время спора – ушел, не то волоча ноги, не то прихрамывая и стараясь иметь вид независимый. По-видимому, он не был новичком в порту и направился прямо-хонько в пивную Мариане, находившуюся неподалеку от базара. Этот бродяга Мариане был знаком с долговязым субъектом и где-то в другом порту потакал его порочным наклонностям; теперь он встретил его раболепно и, снабдив батареей бутылок, запер в верхней комнате своего вертепа. По-видимому, долговязый субъект желал спрятаться, опасаясь преследования. Много времени спустя Мариане явился как-то на борт моего судна, чтобы получить с баталера деньги за сигары, и сообщил мне, что для долговязого парня готов был сделать и больше, не задавая вопросов, в благодарность за какую-то гнусную услугу, некогда оказанную ему этим субъектом. Он дважды ударил себя кулаком в смуглую грудь, вытаращил огромные черные глаза – в них блеснули слезы – и воскликнул: «Антонио всегда будет помнить, Антонио всегда будет помнить!»

Какова была эта услуга, я так никогда в точности и не узнал. Как бы то ни было, но он предоставил ему возможность находиться под замком в комнате, где стояли стол,

стул, на полу лежал матрас, да в углу куча обвалившейся штукатурки. Долговязый субъект, отдавшийся безудержному страху, мог поддерживать свой дух теми напитками, какие были у Мариане. Так продолжалось до тех пор, пока, к вечеру третьего дня, субъект, испустив несколько отчаянных воплей, не решился обратиться в бегство от легиона стоножек. Он взломал дверь, одним прыжком слетел с маленькой лестницы, рухнул прямо на живот Мариане, затем вскочил и, как кролик, ринулся на улицу. Рано утром полисмен нашел его в куче мусора. Сначала ему взбрело в голову, что его тащат на казнь, и он геройски сражался за свою голову; когда же я присел к его кровати, он лежал очень спокойно, и в таком настроении пребывал уже два дня. На фоне подушки его худое бронзовое лицо с белыми усами выглядело красивым и спокойным; оно походило на лицо истомленного воина с детской душой, не будь этой странной тревоги, светившейся в его стеклянных, блестящих глазах, – словно чудовище, безмолвно притаившееся за застекленной рамой. Он был так удивительно спокоен, что я возымел нелепую надежду получить от него какое-нибудь объяснение этого нашумевшего дела.

Не могу сказать, почему мне так хотелось разобраться в деталях позорного происшествия, в конце концов оно касалось меня лишь как члена известной корпорации. Если хотите, называйте это нездоровым любопытством. Как бы то ни было, я, несомненно, хотел что-то разузнать. Быть может, подсознательно я надеялся нащупать какую-то тайную причину – смягчающие вину обстоятельства. Теперь я понимаю, что надежда моя была несбыточна, ибо я надеялся взять верх над самым стойким призраком, созданным человеком, – гнетущим сомнением, обволакивающим, как туман, гложущим, словно червь, более жутким, чем уверенность в смерти, – сомнением в верховной власти твердо установленных норм. Верил ли я в чудо? И почему так страстно его желал? Быть может, ради самого себя я искал хотя бы тени извинения для этого молодого человека, которого никогда раньше не встречал.

Боюсь, что таков был тайный мотив моих расследований. Да, я ждал чуда. Единственное, что кажется мне теперь чудесным, это – беспримерная моя глупость. Я действительно ждал от этого угнетенного и мрачного инвалида какого-то заклęcia против духа сомнений. И, должно быть, я стоял на грани отчаяния, ибо после нескольких дружелюбных фраз, на которые тот, как и всякий порядочный больной, отвечал с вялой готовностью, я произнес слово «Патна», облачив его в деликатный вопрос, словно закутав в шелк. Деликатным я был умышленно: я не хотел его пугать. До него мне не было дела, к нему я не чувствовал ни злобы, ни жалости, его переживания не имели для меня ни малейшего значения, его искупление меня не касалось. Он построил свою жизнь на мелких подлостях и больше не мог внушать ни отвращения, ни жалости. Он повторил вопросительно:

– «Патна»? – затем, казалось, напряг память и сказал: – Да, да... Я здесь старожил. Я видел, как она пошла ко дну.

Услыхав такую нелепую ложь, я готов был возмутиться, но он спокойно добавил:

– Она была полна пресмыкающимися.

Я призадумался. Что он хотел этим сказать? В стеклянных его глазах, в упор смотревших на меня, казалось, застыл ужас.

– Они подняли меня с койки в среднюю вахту посмотреть, как она идет ко дну, – продолжал он задумчиво.

Голос его вдруг окреп. Я раскаивался в своей глупости. Сиделки вблизи не было; передо мной тянулся длинный ряд свободных железных коек. Лишь на одной из них сидел худощавый и смуглый больной с белой повязкой на лбу – жертва несчастного случая, происшедшего где-то на рейде. Вдруг мой собеседник вытянул руку, тощую, как щупальца, и вцепился в мое плечо.

– Один я мог рассмотреть. Все знают, какое у меня острое зрение. Должно быть, для этого-то они меня и позвали. Никто из них не видел, как она шла ко дну, а когда она исчезла под водой, они все заорали... вот так...

Дикий вой заставил меня содрогнуться.

– Заткните вы ему глотку! – взмолилась жертва несчастного случая.

– Полагаю, вы мне не верите? – с безграничным высокомерием продолжал инвалид. – Поверьте, по эту сторону Персидского залива не найдется ни одного человека с таким зрением, как у меня. Посмотрите под кровать.

Конечно, я поспешил наклониться. Хотел бы я знать, кто бы на моем месте этого не сделал!

– Ну что вы там видите? – спросил он.

– Ничего! – сказал я пристыженный.

Он посмотрел на меня презрительно.

– Вот именно, – сказал он. – А если бы поглядел я, я бы увидел. Поверьте, ни у кого нет таких острых глаз, как у меня.

Снова он вцепился в мое плечо и притянул меня к себе, желая о чем-то сообщить по секрету.

– Миллионы розовых жаб! Ни у кого нет таких зорких глаз, как у меня. Это хуже, чем смотреть на тонущее судно. Миллионы розовых жаб. Я могу смотреть на тонущее судно и спокойно курить трубку. Почему мне не дают моей трубки? Я бы курил, присматривал за этими жабами. Судно кишело ими. Знаете ли, за ними нужно присматривать.

Он шутливо подмигнул. Пот выступил у меня на лбу, тиковый китель прилип к телу. Вечерний ветерок проносился над рядом свободных коек, жесткие складки занавесей шевелились, кольца стучали о медные прутья, одеяла на кроватях бесшумно приподнимались над полом, а я совершенно продрог. Мягкий тропический ветерок резвился в пустынной палате, а мне он казался таким же холодным, как зимний ветер, разгуливающий по старой риге на моей родине.

– Не позволяйте ему орать, мистер! – крикнула издали жертва несчастного случая; этот гневный крик пронесся по палате, словно пугливый оклик в туннеле. Цепкая рука притянула меня за плечо; инвалид многозначительно подмигнул.

– Послушайте, судно так и кишело ими, и нам пришлось потихоньку удрать, – быстро залепетал он. – Все розовые. Розовые и большие, как дворцовые псы. На лбу один глаз, а из пасти торчат отвратительные клыки!

Он задержался, словно через него пропустили гальванический ток, и под одеялом обрисовались худые ноги. Затем он выпустил мое плечо и стал ловить что-то в воздухе; тело его дрожало, как слабо натянутая струна. И вдруг таившийся в мутных глазах ужас вырвался на свободу. Его лицо, спокойное, благородное лицо старого вояки, исказилось на моих глазах; оно стало хитрым и испуганным. Он сдержал вопль.

– Тсс... Что они там делают? – спросил он украдкой указывая на пол и из предосторожности понижая голос. Я понял значение этого жеста, и мне не по себе стало от собственной моей проницательности.

– Они все спят, – ответил я, всматриваясь в его лицо.

Этого-то он и ждал; только эти слова и могли его успокоить. Он перевел дух.

– Тсс... Тише, тише. Я здесь старожил. Знаю этих тварей. Надо размозжить голову первой, которая зашевелится. Очень уж их много, и судно продержится не больше десяти минут.

Он снова заохал.

– Скорей! – закричал он вдруг, и крик его перешел в рев. – Они все проснулись – миллион жаб! Ползут ко мне! Подождите! Я их буду давить, как мух! Да подождите же меня! На помощь! На по-о-омощь!

Несмолкаемый вой завершил мое поражение. Я видел, как жертва несчастного случая в отчаянии сжала руками забинтованную голову; фельдшер появился в дальнем конце палаты – маленькая фигурка, словно видимая в телескоп. Я признал себя побежденным и выскочил в одну из застекленных дверей в галерею. Вой преследовал меня, словно мщение. Я очутился на площадке лестницы, и вдруг все затихло; в тишине, давшей мне возможность собраться с мыслями, я спустился по ступеням. Внизу я встретил одного из хирургов госпиталя, он шел по двору и остановил меня.

– Навещали своего матроса, капитан? Думаю, можно будет завтра его выписать. Знаете ли, к нам попал первый механик с того паломнического судна. Занятный случай. Один из худших видов *delirium tremens*. Три дня он пил запоем в пивной этого итальянца. Результаты налицо. Говорят, в день он осушал по четыре бутылки бренди. Изумительно, если это только не враки. Можно подумать, что внутренности его выстланы листовым железом. Ну, голова-то, конечно, не выдержала, но любопытнее всего то, что в бреду его есть какая-то система. Я пытаюсь выяснить. Необычайное явление, нечто, похожее на логику при *delirium tremens*. По традиции ему бы следовало видеть змей, но он их не видит. В наше время добрые старые традиции не в почете. Его преследуют видения... Жабы... Ха-ха-ха! Право, я еще не встречал такого интересного субъекта среди пьяниц. Видите ли, после такого возлияния ему по всем правилам следовало бы умереть. Но он крепкий парень. А ведь двадцать четыре года прожил в тропиках. Вам не мешает взглянуть на него. И вид у этого старого пьянчужки благородный. Самый замечательный человек из всех, кого я знаю... конечно, с медицинской точки зрения. Хотите поглядеть?

Я слушал из вежливости, стараясь казаться заинтересованным, но теперь с сожалением прошептал, что очень тороплюсь, и поспешил пожать ему руку.

– Послушайте, – крикнул он мне вдогонку, – он не может явиться в суд. Как вы думаете, его показания были бы существенными?

– Думаю, что нет, – отозвался я, подходя к воротам.

Глава VI

По-видимому, власти были того же мнения. Судебного следствия не отложили, и оно состоялось в назначенный день. Зал был полон. Никаких сомнений относительно фактов – точнее, одного факта – не было. Каким образом «Патна» получила повреждение, установить было невозможно; суд не рассчитывал это выяснить, и в зале не было ни одного человека, которого бы этот вопрос интересовал. Однако, как я уже сказал, все моряки порта были налицо, так же как и представители торговых кругов, связанных с морем. Сюда их привлек интерес чисто психологический: они ждали какого-то разоблачения, которое вскрыло бы силу и ужас человеческих эмоций. Разумеется, такого разоблачения быть не могло. Допрос единственного человека, способного и желающего отвечать, тщетно вертелся вокруг хорошо известного факта, а вопросы столь же достигали цели, как постукивание молотком по железному ящику, с целью узнать, что лежит внутри. Впрочем, судебное следствие и не могло быть иным. Его целью было добиться ответа не на вопрос «почему», а на поверхностный вопрос «как».

Молодой человек мог бы им ответить, но – хотя именно это и интересовало всю аудиторию – другие вопросы отвлекали от основного, который для меня, например, являлся единственно стоящим внимания. Не можете же вы ждать, чтобы должностные лица исследовали душу человека, выясняя, не виновата ли во всем только его печень. Их дело было разбираться в последствиях, и, конечно, чиновник с двумя морскими ассессорами не пригодны для чего-либо иного. Я не говорю, что эти парни были глупы. Председатель оказался очень терпеливым. Один из ассессоров был шкипер парусного судна – человек с рыжеватой бородкой, благочестиво настроенный. Другим ассессором был Брайерли. Великий Брайерли! Кто из вас не слышал о великом Брайерли – капитане известного судна, принадлежащего пароходству «Голубая звезда»?

Казалось, он чрезвычайно тяготился оказанной ему честью. За всю свою жизнь он не сделал ни одной ошибки, не знал случайностей и неудач. Он был из числа тех счастливицков, которым неведомы колебания, неуверенность в себе. В тридцать два года он командовал одним из лучших судов торгового флота; мало того, он сам считал свое судно исключительным. Второго такого судна не было во всем мире; полагаю, если его спросить, он признался бы, что и такого командира нигде не сыщешь. Выбор пал на достойного. Остальные люди, которым не дано было командовать стальным пароходом «Осса», делавшим шестнадцать узлов в час, были довольно-таки жалкими существами. Он спасал тонущих людей на море, спасал суда, потерпевшие аварию, имел золотой хронометр, который был поднесен ему по подписке, и бинокль с соответствующей надписью, полученный им за вышеупомянутые заслуги от какого-то иностранного правительства. Он хорошо знал цену и своим заслугам и своим наградам.

Пожалуй, он мне нравился, хотя я знаю, что некоторые его попросту не терпели. Я нимало не сомневаюсь, что на меня он смотрел свысока. Однако я на него серьезно не обижался. Видите ли, он презирал меня не за какие-либо мои личные качества. Я просто не шел в счет, ибо не был единственным счастливым человеком на земле, – не был Монтегю Брайерли, владельцем золотого хронометра, поднесенного по подписке, и бинокля в серебряной оправе, свидетельствующего об искусстве в мореплавании и неизменном счастье; цены себе и своим наградам я не знал, не говоря уже о том, что у меня не было такой черной ищейки, как у Брайерли. Эта ищейка была ведь исключительной, ни один пес не относился к человеку с такой любовью и преданностью, как она. Несомненно, когда все это ставится вам на вид, вы чувствуете некоторое раздражение. Однако так же фатально не повезло и миллиарду двумстам миллионов людей, и, подумав, я решил простить его презрительную жалость:

что-то в этом человеке меня притягивало. Это влечение я так и не уяснил себе, но бывали минуты, когда я завидовал Брайерли. Жизнь царапала его самодовольную душу не глубже, чем булавка гладкую поверхность скалы. Ведь это достойно зависти. Когда он сидел подле непритязательного бледного председателя, его самодовольство казалось всем нам твердым, как гранит. А вскоре после этого он покончил с собой.

Неудивительно, что он тяготился делом Джима. В то время как я почти со страхом размышлял о глубочайшем его презрении к молодому человеку, он, вероятно, анализировал мысленно свое собственное дело. Нужно думать, – приговор был обвинительный, а тайну показаний он унес с собой в море. Если я понимаю что-нибудь в людях, – дело это было очень значительным, одним из тех пустяков, что пробуждают спящую доселе мысль; мысль вторгается в жизнь, и человек, непривычный к такому обществу, жить больше не может. Я знаю, что тут дело было не в деньгах, не в пьянстве, не в женщине. Он прыгнул за борт через неделю после конца судебного следствия и меньше чем через три дня после того, как вышел в плавание, словно перед ним внезапно в волнах разверзлись врата иного мира, распахнувшиеся, чтобы его принять.

Однако он это сделал не под влиянием аффекта. Его седовласый помощник, перво-классный моряк – он был славным стариком, но по отношению к своему командиру позволял себе невероятные глупости, – бывало, со слезами на глазах рассказывал эту историю. По словам помощника, когда он утром вышел на палубу, Брайерли находился в рубке и что-то писал.

– Было без десяти минут четыре, – так рассказывал помощник, – и среднюю вахту, конечно, еще не сменили. На мостике я заговорил со вторым помощником, а капитан услышал мой голос и позвал меня. По правде сказать, капитан Марлоу, мне здорово не хотелось идти, со стыдом признаюсь, что терпеть я не мог капитана Брайерли. Никогда мы не можем распознать человека. Его назначили, обойдя очень многих, не говоря уже обо мне, а к тому же он дьявольски любил вас унижить – «с добрым утром» он говорил так, что вы чувствовали свое ничтожество. Я никогда не разговаривал с ним, сэр, кроме как по служебным делам, да и то я мог только принудить себя быть вежливым.

(Он польстил себе. Я частенько удивлялся, как может Брайерли терпеть такое обращение.)

– У меня жена и дети, – продолжал он. – Десять лет я служил компании и по глупости своей все ждал назначения капитаном. Вот он и говорит мне:

– Пожалуйста сюда, мистер Джонс, – этаким высокомерным тоном. – Пожалуйста сюда, мистер Джонс.

Я вошел.

– Отметим положение судна, – говорит он и наклоняется над картой, а в руке у него циркуль. Как вы знаете, помощник должен это сделать по окончании своей вахты. Однако я промолчал и смотрел, как он отмечал крохотным крестиком положение судна и писал дату и час. Вот и сейчас вижу, как он аккуратно выводит цифры: восемнадцать, восемь, четыре. А год был написан красными чернилами наверху карты. Больше года капитан Брайерли никогда не пользовался одной и той же картой. Та карта хранится и теперь у меня. Написав, он встал, поглядел на карту, улыбнулся, потом посмотрел на меня.

– Тридцать две мили держитесь этого курса, – сказал он, – тогда мы отсюда выберемся, и вы можете повернуть на двадцать градусов к югу.

Мы шли к северу от Гектор-Бэнк. Я сказал: «Да, сэр» – и подивился, что он так разговаривал: ведь все равно я должен был зайти к нему перед тем, как изменить курс. Пробыло восемь склянок, мы вышли на мостик, и второй помощник, прежде чем уйти, доложил, по обыкновению:

– Семьдесят один по лагу.

Капитан Брайерли взглянул на компас, потом огляделся. Было темно и ясно, а звезды сверкали ярко. Вдруг он говорит со вздохом:

– Я пойду на корму и сам поставлю для вас лаг на нуль, чтобы не вышло ошибки. Еще тридцать две мили держитесь этого курса, и тогда вы будете в безопасности. Не забудьте коэффициент поправки к лагу – процентов шесть. Значит, еще тридцать миль этим курсом, а затем возьмите на штирборт на двадцать градусов. К чему идти лишних две мили? Не так ли?

Никогда я не слышал, чтобы он так много говорил, – главное, никакой нужды в этом не было. Я ничего не ответил. Он спустился по трапу, и собака, которая всегда следовала за ним по пятам, тоже побежала вниз. Я слышал, как стучали его каблуки по палубе; потом он остановился и заговорил с собакой:

– Назад, Бродяга! На мостик, дружище! Ступай, ступай!

Он крикнул мне из темноты:

– Пожалуйста, запрячь собаку в рубку, мистер Джонс.

В последний раз я слышал его голос, капитан Марлоу. – Тут голос старика дрогнул. – Видите ли, он боялся, как бы бедный пес не прыгнул вслед за ним, – продолжал он дрожащим голосом. – Да, капитан Марлоу. Он установил для меня лаг; он, поверите ли, даже впустил туда капельку масла: лейка для масла лежала вблизи, там, где он ее оставил. В половине шестого помощник боцмана пошел с ватершлагом на корму мыть палубу; вдруг он бросает работу и бежит на мостик.

– Не пройдете ли вы, – говорит, – на корму, мистер Джонс? Странную я тут нашел штучку. Мне не хотелось к ней притрагиваться.

То был золотой хронометр капитана Брайерли, подвешенный за цепочку к поручням.

Как только я его увидел, меня словно осенило, сэр. Ноги мои подкосились. Я точно своими глазами видел, как он прыгал за борт; я бы мог даже сказать, где он остался. На лаге было восемнадцать и три четверти мили; у грот-мачты не хватало четырех железных кофельнагелей. Должно быть, он сунул их в карман, чтобы легче пойти ко дну. Но что значат четыре железных кофельнагеля для такого здорового человека, как капитан Брайерли. В последний момент, быть может, его самоуверенность чуть-чуть пошатнулась. Мне думается, что то был единственный случай в его жизни, когда он проявил слабость. Но я готов за него поручиться: прыгнув за борт, он не пытался плыть; а упав он за борт случайно, у него хватило бы мужества целый день продержаться на воде. Да, сэр. Второго такого не найти – я слышал однажды, как он сам это сказал. Ночью он написал два письма – одно компании, другое мне. Он мне оставил всякие инструкции относительно плавания, хотя я служил во флоте, когда он еще ходить не научился; потом он давал мне разные советы, как мне держать себя в Шанхае, чтобы получить командование «Оссой». Капитан Марлоу, он мне писал, словно отец своему любимому сыну, а ведь я был на двадцать лет старше его и отведал соленой воды, когда он под стол еще ходил. В своем письме правлению – оно было не запечатано, чтобы я мог прочесть, – он писал, что всегда исполнял свой долг и даже теперь не обманывал их доверия, ибо оставлял судно самому компетентному моряку, какого только можно найти. Сэр, это меня он имел в виду, меня. Дальше он писал, что, если этот последний поступок не лишит его доверия, правление примет во внимание мою верную службу и его горячую рекомендацию, когда будет искать ему заместителя. И много еще в таком роде, сэр. Я не верил своим глазам. У меня в голове помутилось, – продолжал старик в страшном волнении и вытер себе глаза большим пальцем, широким, как шпатель.

– Можно было подумать, сэр, что он прыгнул за борт единственно для того, чтобы дать бедному человеку возможность продвинуться. И так все это стремительно случилось, что я целую неделю не мог опомниться... Да к тому же еще я считал, что моя карьера сделана. Однако не тут-то было. Капитан «Пелиона» был переведен на «Оссу» и явился на борт в Шанхае. Этаким франтик, сэр, в сером клетчатом костюме и с пробором посредине головы.

– Э... я... э... я... ваш новый капитан, мистер... мистер... э... Джонс.

Он, капитан Марлоу, словно искупался в духах – так от него ими воняло. Должно быть, он подметил мой взгляд и потому-то и стал так заикаться. Он забормотал о том, что я, конечно, должен быть разочарован... но... его первый помощник назначен капитаном «Пелиона»... он лично тут ни при чем... Компании лучше знать... ему очень жаль...

– Не обращайтесь внимания на старого Джонса, сэр, – говорю я ему, – он привык к этому, черт бы побрал его душу.

Я сразу понял, что оскорбил его деликатный дух; а когда мы в первый раз уселись вместе за завтрак, он стал препротивно критиковать порядки на судне. Я стиснул зубы, уставился в свою тарелку и терпел, пока хватало сил. Наконец, не выдержал и что-то сказал: он как вскочит на цыпочки и взъерошил все свои красивые перышки, словно боевой петушок:

– Вы скоро узнаете, что имеете дело не с таким человеком, как покойный капитан Брайерли.

– Это мне уже известно, – говорю я очень мрачно и притворяюсь, будто занят своей чотлетой.

– Вы – старый грубиян, мистер... э... Джонс, и это хорошо известно правлению! – взвизгнул он.

А люди стояли кругом и слушали, разинув рты.

– Может быть, я и таков, – отвечаю, – а все же не могу видеть, что вы сидите в кресле капитана Брайерли. – И кладу нож и вилку.

– Вам самому хотелось бы сидеть в этом кресле – вот где собака зарыта, – огрызнулся он.

Я вышел из кают-компаний, сложил вещи и раньше, чем явились носильщики, очутился со всем своим имуществом на набережной. Так-то. Выброшен на берег... после десяти лет службы... А за шесть тысяч миль отсюда жена и четверо детей только и живут, что на мое жалованье. Да, сэр! Но не мог я вытерпеть, чтобы оскорбляли капитана Брайерли, и готов был идти на все. Он мне оставил бинокль – вот он; он поручил мне свою собаку – вот она. Эй, Бродяга! Где капитан?

Собака тоскливо посмотрела на нас своими желтыми глазами, уныло тявкнула и забила под стол.

Этот разговор происходил больше двух лет спустя на борту старой развалины «Файр-Квин», которой командовал Джонс. Командование он получил случайно – от Матерсона – сумасшедшего Матерсона, как его всегда называли; того самого, что, бывало, болтался в Хай-Понге до оккупации.

Старик снова заговорил:

– Да, сэр, уже здесь-то, во всяком случае, будут помнить капитана Брайерли. Я подробно написал его отцу и ни слова не получил в ответ – ни «спасибо», ни «убирайтесь к черту» – ничего! Возможно, что они вовсе не хотели о нем слышать.

Вид этого старого Джонса, вытирающего лысую голову красным бумажным платком, тоскливое тявканье собаки, грязь, каюта, засиженная мухами – ковчег воспоминаний об умершем, – все это набрасывало вуаль невыразимо жалкого пафоса на памятную фигуру Брайерли: посмертное мщение судьбы за эту веру в его собственное величие; эта вера почти обманула жизнь со всеми ее повседневными ужасами. Почти. А может быть, и вполне. Кто знает, с какой лестной для него точки зрения оценивал он собственное самоубийство.

– Капитан Марлоу, как вы думаете, почему он покончил с собой? – спросил Джонс, сжимая ладони. – Почему? Это выше моего понимания. – Он ударил себя по низкому морщинистому лбу. – Если бы он был беден, стар, влез в долги... неудачник... или сошел с ума... Но, уж поверьте мне, он был не из тех, что сходят с ума! Чего помощник не знает о своем капитане, того и знать не стоит. Молодой, здоровый, с достатком, никаких забот... Вот сижу

я здесь иногда и думаю, думаю, пока в голове у меня не зашумит. Ведь была же какая-нибудь причина...

– Можете быть уверены, капитан Джонс, – сказал я, – причина была не из тех, что могут нас с вами потревожить.

И здесь словно что-то осенило бедного Джонса: в конце беседы старик произнес слова, поражающие своей глубиной. Он высморкался, печально закивал мне головой и сказал:

– Да, да. Ни вы, ни я, сэр, никогда столько о себе не думали.

Разумеется, воспоминания о моем последнем разговоре с Брайерли окрашены тем, что я знаю о его самоубийстве, последовавшем так скоро за этим разговором. В последний раз я говорил с ним, когда разбиралось дело. После первого заседания мы вместе вышли на улицу. Он был раздражен, что я отметил с удивлением: снисходя до беседы, он всегда, бывало, сохранял полнейшее хладнокровие и относился к своему собеседнику с какой-то веселой терпимостью, как будто самый факт его существования почитал забавной шуткой.

– Они заставили-таки меня участвовать в суде, – начал он, а затем стал жаловаться на неудобство днем ходить в суд. – А сколько времени это протянется – одному богу известно. Дня три, я думаю.

Я слушал его молча.

– Это самое глупое дело, какое только можно себе представить, – продолжал он с жаром.

В ответ я подал реплику, что отказаться он не мог. Он перебил меня с каким-то сдержанным бешенством:

– Все время я чувствую себя дураком.

Я поднял на него глаза. Для Брайерли это было уже слишком. Он остановился, схватил меня за лацкан пиджака и потянул.

– Зачем мы терзаем этого молодого человека? – спросил он.

Вопрос этот был так созвучен похоронному звону моих мыслей, что я отвечал тотчас же, мысленно представив себе улику немца:

– Пусть меня повесят, если я знаю, но он сам на это идет.

Я был изумлен, когда он произнес фразу, которую можно было счесть до известной степени загадочной:

– Ну, конечно. Разве он не понимает, что его негодяй шкипер улику? Чего же он ждет? С ним кончено.

Несколько шагов мы прошли в молчании.

– Зачем пожирать всю эту грязь? – воскликнул он, употребляя энергичную восточную поговорку – пожалуй, единственное проявление энергии на Востоке, на пятидесятом меридиане.

Я подивился ходу его мыслей, но теперь считаю это вполне естественным: бедняга Брайерли думал, должно быть, о самом себе. Я заметил ему, что, как известно, шкипер «Патны» охулки на руку не положит и всюду мог раздобыть денег. С Джимом дело обстояло иначе: власти временно поместили его в доме для моряков, и, вероятно, у него в кармане не было ни гроша. Нужно иметь деньги, чтобы удрать.

– Нужно ли? Не всегда, – сказал он с горьким смехом.

Я еще что-то сказал, а он ответил:

– Ну так пускай он зароется на двадцать футов в землю и там остается. Клянусь Небом, я бы это сделал!

Почему-то его тон задел меня, и я сказал:

– Чтобы выдержать это до конца, как делает он, – нужно мужество. А ведь ему хорошо известно, что никто не станет его преследовать, если он удержит.

– К черту мужество, – проворчал Брайерли, – такое мужество не поможет человеку держаться прямого пути, и ни гроша оно не стоит. Вам следовало бы сказать, что это – своего рода дряблость. Вот что я вам скажу: я дам двести рупий, если вы приложите еще сотню и уговорите парня убратся завтра поутру. Он производит впечатление порядочного человека – он поймет. Не может не понять. Эта огласка слишком отвратительна: можно сгореть от стыда, когда серанг и все матросы дают показания. Омерзительно. Неужели вы, Марлоу, не чувствуете, как это омерзительно? Вы моряк. Если он скроется, все это прекратится.

Брайерли произнес эти слова с необычным оживлением и потянулся за бумажником. Я остановил его и холодно заявил, что, на мой взгляд, трусость этих четверых не имеет такого большого значения.

– А еще считаете себя моряком! – гневно воскликнул он.

Я сказал, что действительно считаю себя моряком, и – смею надеяться – не ошибаюсь. В ответ он сделал рукой жест, который словно лишил меня моей индивидуальности – смешивал с толпой.

– Хуже всего то, – объявил он, – что у вас, господа, нет чувства собственного достоинства. Вы не думаете о том, что собой представляете.

Все это время мы медленно шли вперед и теперь остановились против управления порта, вблизи того места, где массивный капитан «Патны» исчез, как крохотное перышко, подхваченное ураганом. Я улыбнулся. Брайерли продолжал:

– Это позор! Конечно, в нашу среду попадают всякие парни, среди нас бывают и отъявленные негодяи. Но должны же мы, черт побери, сохранять профессиональное достоинство! Нам доверяют. Понимаете? – доверяют. По правде сказать, мне нет дела до всех этих паломников, отправляющихся в Азию, но порядочный человек не поступил бы так, даже если бы судно было нагружено старым тряпьем. Такие поступки подрывают доверие. Человек всю свою жизнь может прожить на море и не встретиться с опасностью, которая требует величайшей выдержки. Но если опасность встретишь... Да... Если бы я... – Он круто оборвал и заговорил другим тоном: – Я дам вам двести рупий, Марлоу, а вы потолкуйте с этим парнем. Черт бы его побрал. Хотел бы я, чтобы он никогда сюда не являлся. Дело в том, что мои родные, кажется, знают его семью. Отец его – приходской священник. Помнится, я встретил его в прошлом году, когда жил у своего кузена в Эссексе. Кажется, старик души не чаял в своем сыне-моряке. Ужасно. Сделать это сам я не могу, но вы...

Таким образом, благодаря Джиму, я на момент увидел подлинное лицо Брайерли за несколько дней до того, как он кончил счеты с жизнью. Конечно, я уклонился от вмешательства. Тон, каким были сказаны последние слова (у бедняги Брайерли они сорвались бессознательно), казалось, намекал на то, что я достоин не большего внимания, чем какая-нибудь козявка. В результате я с негодованием отнесся к его предложению и окончательно убедился в том, что суд является суровым наказанием для Джима, и, подвергаясь ему добровольно, он как бы искупает до известной степени свое отвратительное преступление. Раньше я не был в этом так уверен. Брайерли ушел рассерженный. В то время его настроение казалось мне более загадочным, чем кажется теперь.

На следующий день, поздно явившись в суд, я сидел один. Разумеется, я не забыл об этом разговоре с Брайерли, а теперь они оба – и Брайерли и Джим – сидели передо мной. Поведение одного казалось угрюмо-наглым, физиономия другого выражала презрительную скуку; однако первое могло быть не менее ошибочным, чем второе, а я знал, что лицо Брайерли лжет. Брайерли не скучал – он был возмущен, следовательно, и Джим, быть может, вовсе не был наглым, а это согласовалось с моей теорией. Я решил, что он потерял всякую надежду. Вот тогда-то я и встретился с ним взглядом. Взгляд, какой он мне бросил, мог задуть желание с ним заговорить. Какую бы гипотезу я ни принимал – бесстыдство или отчаяние, – я чувствовал, что ничем не могу ему помочь.

То был второй день разбора дела. Вскоре после того, как мы обменялись взглядами, заседание снова прервали до следующего дня. Белые начали пробираться к выходу. Джиму еще раньше предложили покинуть возвышение, и он вышел одним из первых. Я видел его широкие плечи и голову в светлом пятне открытой двери. Пока я медленно шел к выходу, с кем-то разговаривая, – ко мне обратился совершенно незнакомый человек, – я мог видеть Джима из зала суда: он стоял, облокотившись на балюстраду веранды, спиной к публике, спускавшейся по ступеням. Слышались тихие голоса и шарканье ног.

Теперь должно было слушаться дело о нанесении побоев какому-то ростовщику. Обвиняемый – почтенный на вид крестьянин с длинной белой бородой – сидел на циновке как раз за дверью; вокруг него расположились на корточках или стояли его сыновья, дочери, зятья, жены – полагаю, добрая половина деревни собралась здесь. Стройная темнокожая женщина с полуобнаженной спиной, голым черным плечом и тонким золотым кольцом, продетым в нос, вдруг заговорила пронзительным, крикливым голосом. Человек, шедший со мной, невольно поднял глаза. Мы уже вышли и очутились как раз за широкой спиной Джима.

Не знаю, кто привел желтую собаку, – может быть, эти крестьяне. Как бы то ни было, но собака была здесь; как и всякая туземная собака, она шныряла между ногами проходящих. Мой спутник споткнулся об нее, она, не взвизгнув, отскочила в сторону, а он, слегка повысив голос, сказал с тихим смехом:

– Посмотрите на эту трусливую тварь!

Вслед за этим поток людей разъединил нас. Меня на секунду приперли к стене, а незнакомец спустился по ступеням и исчез. Я видел, как Джим круто повернулся. Он шагнул вперед и преградил мне дорогу. Мы стояли друг против друга; он смотрел на меня с видом упрямым и решительным. Я чувствовал себя так, словно меня остановили в дремучем лесу. Веранда к тому времени опустела; шум в зале суда затих; наступило великое молчание, и только откуда-то издалека донесся жалобный голос. Собака, не успевшая проскользнуть в дверь, уселась и стала ловить мух.

– Вы мне что-то сказали? – очень тихо спросил Джим, наклоняясь вперед, словно наступая на меня.

Я тотчас же ответил:

– Нет.

Что-то в звуке этого спокойного голоса подсказало мне, что следует быть настороже. Я следил за ним. Встреча эта походила на встречу в лесу, только нельзя было предугадать исход, ибо не мог же он потребовать ни моего кошелька, ни моей жизни, – ничего, что бы я попросту отдал либо стал сознательно защищать.

– Вы говорите – нет, – сказал он, очень мрачный, – но я слышал.

– Недоразумение! – возразил я, ничего не понимая.

Я не сводил глаз с его лица, которое потемнело, словно небо перед грозой: тени набегали на него и сгущались перед близкой вспышкой.

– Я не открывал рта в вашем присутствии, – заявил я.

Этот нелепый разговор начинал меня злить. Теперь я понимаю, что в тот момент я мог ввязаться в драку – настоящую драку, когда в ход пускают кулаки. Я смутно ощущал эту возможность. Нет, он мне угрожал не по-настоящему. Наоборот, он был страшно пассивен, но он всем корпусом подался вперед, и хотя не производил впечатления человека очень крупного, но, казалось, свободно мог прошибить стену. Однако я подметил и благоприятный симптом: Джим как будто глубоко задумался и стал колебаться; я это принял как дань моему неподдельно искреннему тону. Мы стояли друг против друга. В зале суда разбиралось дело о побоях. Я уловил слова: «Буйвол... палка... сильный страх...»

– Почему вы все утро на меня смотрели? – сказал наконец Джим. Он поднял глаза, потом снова их опустил.

– Вы думали, что все будут сидеть с опущенными глазами, щадя ваши чувства? – отрезал я, не желая принимать покорно его нелепые выводы.

Он снова поднял глаза и на этот раз прямо посмотрел мне в лицо.

– Нет. Так оно и должно быть, – произнес он, словно взвешивая эти слова. – Так оно и должно быть. На это я иду. Но только, – здесь он заговорил быстрее, – я никому не позволю оскорблять меня вне суда. С вами был какой-то человек. Вы говорили с ним... о да, я знаю все это прекрасно. Вы говорили с ним, но так громко, чтобы я слышал...

Я заверил его, что он ошибается. Понятия я не имел, как это могло произойти.

– Вы думали, что я не решусь ответить на оскорбление, – сказал он с легкой горечью.

Я был настолько заинтересован, что подмечал малейшие оттенки в его тоне, но по-прежнему ничего не понимал. Однако что-то в этих словах, а быть может, интонация этой фразы побудила меня отнестись к нему снисходительно. Неожиданная стычка перестала меня раздражать. Произошло какое-то недоразумение, и я предчувствовал, что по характеру своему оно было отвратительно. Мне не терпелось поскорей закончить эту сцену, как не терпится человеку оборвать непрошеное и омерзительное признание. А забавней всего было вот что: предаваясь всем этим соображениям высшего порядка, я тем не менее ощущал некоторое беспокойство при мысли о возможной постыдной драке; для нее не подыщешь объяснений, и она сделает меня смешным. Меня не прельщало прославиться на три дня и получить синяк под глазом от помощника с «Патны». Он же, по-видимому, не задумывался над тем, что делал, и, во всяком случае, был бы оправдан в своих собственных глазах. Несмотря на его спокойствие и, я бы сказал, оцепенение, любой увидел бы, что он был чрезвычайно чем-то рассержен. Не отрицаю, – мне очень хотелось его успокоить, знай я только, как за это взяться. Но вы легко можете себе представить, что я не знал. Молча стояли мы друг перед другом. Секунд пятнадцать он выжидал, затем шагнул вперед, а я приготовился отпарировать удар, хотя, кажется, ни один мускул у меня не дрогнул.

– Будь вы вдвое больше и вшестеро сильнее, – заговорил он очень тихо, – я бы вам сказал, что я о вас думаю. Вы...

– Стойте! – воскликнул я.

Это заставило его на секунду замолкнуть.

– Раньше, чем говорить, что вы обо мне думаете, – быстро продолжал я, – сообщите мне, что я такое сказал или сделал.

Последовала пауза. Он смотрел на меня с негодованием, а я мучительно напрягал память, но мне мешал голос, доносившийся из залы суда, бесстрастно и многословно возражавший против обвинения во лжи. Затем мы заговорили почти одновременно.

– Я вам докажу, что вы ошибаетесь на мой счет, – сказал он тоном, предвещающим кризис.

– Понятия не имею, – заявил я.

Он бросил на меня презрительный взгляд.

– Теперь, когда вы видите, что я не из трусливых, вы пытаетесь вывернуться, – сказал он. – Ну, кто из нас трусливая тварь?

Вот тут только я понял!

Он всматривался в мое лицо, словно выискивая местечко, куда бы опустить кулак.

– Я никому не позволю... – забормотал он.

Да, это было страшное недоразумение; он выдал себя с головой. Не могу вам передать, как я был потрясен. Должно быть, мне не удалось скрыть своих чувств, так как выражение его лица чуть-чуть изменилось.

– Боже мой, – пролепетал я, – не думаете же вы, что я...

– Но я уверен, что не ослышался, – настаивал он и впервые, с начала этой сцены, повысил голос. Затем с оттенком презрения добавил: – Значит, это были не вы? Отлично, я найду того, другого.

– Не глупите, – в отчаянии крикнул я, – это совсем не то!..

– Я сам слышал, – повторил он с непоколебимым мрачным упорством.

Быть может, найдутся люди, которые найдут смешным такое упорство. Но я не смеялся. О нет. Никогда не встречал я человека, который бы выдал себя так безжалостно, отдавшись вполне естественному порыву. Одно слово лишило его сдержанности, той сдержанности, которая для пристойности нашего внутреннего «я» более необходима, чем одежда для нашего тела.

– Не делайте глупости, – повторил я.

– Но вы не отрицаете, что тот, другой, это сказал? – произнес он отчетливо и не мигая глядел мне в лицо.

– Нет, не отрицаю, – сказал я, выдерживая его взгляд.

Наконец, он опустил глаза и посмотрел туда, куда я указывал ему пальцем. Сначала он как будто не понимал, затем остолбенел, и, наконец, на лице его отразилось изумление и испуг, словно собака была чудовищем, которое он увидел впервые.

– Никто и не помышлял вас оскорблять, – сказал я.

Он смотрел на жалкое животное, сидевшее неподвижно, как изваяние. Насторожив уши, собака повернула острую мордочку к двери и вдруг, как автомат, щелкнула зубами, целясь на пролетавшую муху.

Я посмотрел на него. Румянец на его загорелых щеках внезапно потемнел и залил лоб до самых корней вьющихся волос. Уши его порозовели, и даже светлые голубые глаза стали темными от прилива крови к голове. Губы задрожали, словно он вот-вот разразится слезами. Я заметил, что он не в силах выговорить ни единого слова, подавленный своим унижением, быть может, и разочарованием, – кто знает. Возможно, он хотел потасовки, которой намеревался меня угостить, для своей реабилитации и успокоения? Кто знает, какого облегчения он ждал от этой драки? Он был так наивен, что мог ждать чего угодно, но в данном случае он совсем напрасно выдал себя с головой. Он был искренен с самим собой – не говоря уж обо мне – в своей безумной надежде таким путем добиться какого-то опровержения, а насмешливая судьба ему не благоприятствовала. Он издал нечленораздельный звук, как человек, оглушенный ударом по голове. Жалко было смотреть на него. Я нагнал его лишь за воротами. Мне даже пришлось пробежаться, но когда, задыхаясь, я поравнялся с ним и намекнул на бегство, он сказал:

– Никогда. – И повернул к набережной.

Я объяснил, что отнюдь не хотел сказать, будто он бежит от меня.

– Ни от кого... ни от кого на свете, – заявил он упрямо.

Я ничего не сказал ему об одном-единственном исключении из этого правила – исключении, приемлемом для самых мужественных из нас. Думалось, что он и сам скоро это должен понять. Он терпеливо смотрел на меня, пока я придумывал, что бы ему сказать, но в данный момент мне ничего не приходило в голову, и он снова зашагал вперед. Я не отставал и, не желая отпускать его, торопливо заговорил о том, что мне бы не хотелось оставлять его под ложным впечатлением моего... моего... я запнулся. Нелепость этой фразы испугала меня, пока я пытался ее закончить, но могущество фраз ничего общего не имеет с их смыслом или с логикой их конструкции. Мой глупый лепет, видимо, ему понравился. Он оборвал его, сказав с вежливым спокойствием, говорившим о безграничном самообладании или же удивительной изменчивости настроения:

– Моя ошибка...

Я подивился этому: казалось, он намекал на какой-то пустячный эпизод. Неужели он не понял его позорного значения?

– Вы должны меня простить, – продолжал он и угрюмо добавил: – Все эти люди, таращившие на меня глаза там, в суде, казались такими дураками, что... что могло быть и так, как я предполагал.

Эта фраза заставила меня изумиться. Я посмотрел на него с любопытством и встретил его взгляд, непроницаемый и совсем не смущенный.

– С подобными выходками я не могу примириться, – сказал он очень просто, – и не хочу. В суде дело другое: там мне приходится это выносить... и я выношу...

Не могу сказать, чтобы я его понимал. То, что он мне открывал, походило на проблески света в прорывах густого тумана, через которые видишь живые и исчезающие детали, не дающие представления о ландшафте в целом. Они пытаются любопытство человека, но не удовлетворяют; ориентироваться по ним нельзя. В общем он ставил меня в тупик. Вот к чему я пришел, когда мы расстались поздно вечером. Я остановился на несколько дней в отеле «Малабар», и в ответ на мое настойчивое приглашение он согласился вместе пообедать.

Глава VII

В тот день идущее за границу почтовое судно бросило якорь в порту, и в ресторане отеля большинство столиков было занято людьми с билетами кругосветного плавания – билетами ценой в сто фунтов. Были три супружеские пары, по-видимому соскучившиеся за время путешествия, были и люди, путешествующие компанией, были и одинокие туристы, но все эти люди думали, разговаривали, шутили или хмурились точь-в-точь так, как привыкли это делать у себя дома. На новое впечатление они отзывались так же, как и их чемоданы. Отныне они вместе со своими чемоданами будут отмечены ярлыком, как побывавшие в таких-то и таких-то странах. Они будут дрожать над этим своим отличием и сохранять ярлык на чемоданах как документальное доказательство, как единственный неизгладимый след путешествия. Темнолицые слуги бесшумно скользили по натертому полу; изредка раздавался девичий смех, наивный и пустой, как сама девушка. По временам, когда затихал стук посуды, доносились слова, произнесенные в нос остряком, который забавлял ухмыляющихся собутыльников последним скандалом, происшедшим на борту судна. Две старые девы в экстравагантных туалетах кисло просматривали меню и перешептывались, шевеля поблекшими губами; эксцентричные, с деревянными лицами, они походили на роскошно одетые вороны пугала. Несколько глотков вина приоткрыли сердце Джима и развязали ему язык. Аппетит у него был хорош, – это я заметил. Казалось, он похоронил где-то эпизод, положивший начало нашему знакомству, словно то было нечто такое, о чем никогда больше не вспомнишь. Все время я видел перед собой эти голубые мальчишеские глаза, смотревшие прямо на меня, это молодое лицо, широкие плечи, открытый бронзовый лоб с белой полоской у корней вьющихся белокурых волос; его вид вызывал во мне симпатию – это открытое лицо, бесхитростная улыбка, юношеская серьезность. Он был порядочным человеком, – одним из нас. Он говорил рассудительно, с какой-то сдержанной откровенностью и тем спокойствием, какого можно достигнуть мужественным самообладанием или бесстыдством, колоссальной наивностью или странным самообманом. Кто скажет? Если судить по нашему тону, могло показаться, что мы рассуждали о футбольном матче, о прошлогоднем снеге. Моя мысль тонула в догадках, но разговор вдруг повернулся так, что мне удалось, не оскорбляя Джима, сказать что-то по поводу следствия, несомненно являвшегося для него мучительным. Он схватил меня за руку – моя рука лежала на скатерти, около тарелки – и впился в меня глазами. Я был испуган.

– Должно быть, это ужасно неприятно, – пробормотал я, смущенный.

– Это адская пытка! – воскликнул он глухо.

Его движение и эти слова заставили двух франтоватых туристов, сидевших за соседним столиком, тревожно оторваться от пудинга. Я встал, и мы вышли на галерею, где нас ждал кофе и сигары.

На маленьких восьмиугольных столиках горели свечи под стеклянными колпаками; вокруг стояли удобные плетеные кресла; столики отделялись один от другого какими-то кустами с жесткими листьями; между колоннами, на которые падал красный отблеск света из высоких окон, мерцающая и мрачная ночь, казалось, спустилась великолепным занавесом. Огни судов мерцали вдаль, словно заходящие звезды, а холмы по ту сторону рейда походили на закругленные черные массы застывших грозовых туч.

– Я не мог удрать, – начал Джим, – шкипер удрал, так ему и полагалось. А я не мог и не хотел. Все они выпутались так или иначе, но для меня это не годилось.

Я слушал с напряженным вниманием, не смея пошевелинуться; я хотел знать, но и теперь я не знаю, я могу только догадываться. Он был доверчивым, но сдержанным, как будто убеждение в какой-то внутренней правоте мешало истине сорваться с уст. Прежде

всего он заявил – тон словно подтверждал его бессилие перескочить через двадцатифутовую стену, – что никогда уже не вернется домой; это заявление вызвало в моей памяти слова Брайерли: «Если не ошибаюсь, этот старик пастор в Эссексе души не чает в своем сыне-моряке».

Не могу вам сказать, знал ли Джим о том, что он был любимцем отца, но тон, каким он отзывался «о своем папе», давал мне понять, что старый деревенский пастор – самый прекрасный человек из всех, кто когда-либо был обременен заботами о большой семье. Хотя сказано этого и не было, но подразумевалось, не оставляя места сомнениям, а искренность Джима умиляла, подчеркивая, что вся история затрагивает и тех, кто живет там, – очень далеко.

– Теперь он уже знает обо всем из газет, – сказал Джим. – Я никогда не смогу встретиться с бедным стариком.

Я не смел поднять глаз, пока он не добавил:

– Никогда я не смогу объяснить. Он бы не понял.

Тут я посмотрел на него. Он задумчиво курил, затем, немного спустя, встрепенулся и заговорил снова. Он выразил желание, чтобы я не смешивал его с его сообщниками в... преступлении. Он не из их компании; он совсем другой породы. Я не отрицал. Мне отнюдь не хотелось во имя бесплодной истины лишать его хотя бы малой частицы спасительной милости. Я не знал, до какой степени он сам в это верит. Я не знал, какую он вел игру – если вообще это была игра, – думаю, он этого не знал. Я убежден, что ни один человек не может вполне понять собственных своих уловок, к каким прибегает, чтобы спастись от грозной тени самопознания. Я не издал ни звука, пока он размышлял о том, что ему предпринимать, когда кончится «этот дурацкий суд».

По-видимому, он разделял презрительное мнение Брайерли об этой процедуре, предписанной законом. Он не знал, куда ему деваться, – об этом он сказал мне, но, скорее, размышляя вслух, чем разговаривая со мной. Свидетельство будет отнято, карьера кончена, нет денег для отъезда – ни гроша, никакой службы не предвидится. Пожалуй, на родине и можно было бы что-нибудь получить, – иными словами, следовало обратиться к родным за помощью, а этого он ни за что бы не сделал. Ему ничего не оставалось, как поступить простым матросом; может быть, удалось бы получить место боцмана на каком-нибудь пароходе. Он мог бы быть боцманом.

– Думаете, могли бы? – безжалостно спросил я.

Он вскочил и, подойдя к каменной балюстраде, посмотрел в ночь. Через секунду он вернулся и остановился передо мной; его юношеское лицо еще было омрачено душевной тревогой. Он прекрасно понимал, что я не сомневался в его способности управлять рулем. Слегка дрожащим голосом он спросил меня – почему я это сказал. Я был к нему «так добр». Я ведь даже не высмеял его, когда... Тут он запнулся – «когда произошло это недоразумение... и я свалил такого дурака».

Я перебил его и серьезно заявил, что мне это недоразумение отнюдь не показалось смешным. Он сел и, задумчиво потягивая кофе, выпил маленькую чашечку до дна.

– Но я ни на секунду не допускаю, что эта кличка мне подходила, – отчетливо сказал он.

– Да? – спросил я.

– Да! – подтвердил он спокойно и решительно. – А вы знаете, что бы сделали вы? Знаете? И ведь вы не считаете себя... – тут он что-то проглотил, – не считаете себя трус... трусливой тварью?

И тут он – клянусь вам – вопросительно на меня поглядел. Очевидно, то был очень серьезный вопрос. Однако ответа он не ждал. Раньше, чем я успел опомниться, он снова заговорил, глядя прямо перед собой, словно читая знаки, начертанные на лике ночи.

– Все дело в том, чтобы быть готовым. А я не был готов... тогда. Я не хочу оправдываться, но мне хотелось бы объяснить... чтобы кто-нибудь понял... кто-нибудь... Хоть один человек! Вы! Почему бы не вы?

Это было торжественно и чуть-чуть смешно. Так бывает всегда, когда человек мучительно пытается сохранить свое представление о том, каким должно быть его «я». Это представление – условно, правила игры – не больше, и, однако, оно имеет великое значение, ибо притязает на неограниченную власть над природными инстинктами и жестоко карает падение.

Он начал рассказ свой довольно спокойно. На борту парохода, подобравшего этих четырех, плывших в лодке под мягкими лучами заходящего солнца, на них с первого же дня стали смотреть косо. Массивный шкипер выдумал какую-то историю, остальные молчали, и сначала версия шкипера была принята. Не станете же вы подвергать перекрестному допросу людей, потерпевших крушение, людей, которых вы спасли если не от страшной смерти, то, во всяком случае, от жестоких мучений. Затем капитану и помощникам с «Эвондэля», должно быть, пришло в голову, что в этой истории есть что-то неладное, но свои сомнения они, конечно, оставили при себе. Они выбрали шкипера, помощника и двух механиков с затонувшего парохода «Патна», и этого с них было достаточно.

Я не спросил Джима, как он себя чувствовал в течение тех десяти дней, которые провел на борту «Эвондэля». Судя по тому, как он рассказывал, я мог заключить, что он был ошеломлен сделанным открытием – открытием, касавшимся его лично, и, несомненно, пытался объяснить это единственному человеку, который способен был оценить все потрясающее величие этого откровения. Вы должны понять, что он отнюдь не старался умалить его значение. В этом я уверен; здесь и коренится то, что отличало Джима от остальных. Что же касается ощущений, какие он испытал, когда сошел на берег и услышал о непредвиденном завершении истории, в которой сыграл такую жалкую роль, то о них он мне ничего не сказал. Да и трудно это себе представить.

Почувствовал ли он, что почва уходит у него из-под ног? Хотелось бы знать... Но, несомненно, ему скоро удалось найти новую опору. Он прожил на берегу целых две недели в доме для моряков; в то время там жили еще шесть-семь человек, и от них я кое-что слышал о нем. Их мнение сводилось к тому, что, помимо прочих его недостатков, он был угрюмой скотиной. Эти дни он провел на веранде, забившись в кресло, и выходил из своего убежища лишь в часы еды или поздно вечером, когда отправлялся бродить по набережной в полном одиночестве, оторванный ото всех, нерешительный и молчаливый, словно бездомный призрак.

– Кажется, я за все это время ни единой живой душе не сказал и двух слов, – заметил он, и мне стало его очень жалко. Тотчас же он добавил: – Один из тех парней непременно бы брякнул что-нибудь такое, с чем я не мог бы примириться, а ссоры я не хотел. Да, тогда не хотел. Я был слишком... слишком... мне было не до ссор.

– Значит, та переборка в трюме все-таки выдержала? – беззаботно сказал я.

– Да, – прошептал он, – выдержала. И, однако, я могу вам поклясться, что чувствовал, как она качалась под моей рукой.

– Удивительно, какое сильное давление может выдержать старое железо, – сказал я.

Откинувшись на спинку стула, вытянув ноги и свесив руки, он несколько раз кивнул головой. То было грустное зрелище. Вдруг он поднял голову, выпрямился, хлопнул себя по ляжке.

– Ах, какой случай упущен! Боже мой! Какой случай упущен! – воскликнул он, но это последнее слово «упущен» прозвучало словно крик, вырванный болью.

Он снова замолчал и уставился в пространство, жадно призывая этот случай – упущенный случай отличиться; на секунду ноздри его раздулись, словно он втягивал пьянящий

аромат этой неиспользованной возможности. Его взгляд уходил в ночь, и по его глазам я видел, что он стремительно рвется вперед, туда – в фантастическое царство безрассудного героизма. Ему некогда было сожалеть о том, что он потерял, – слишком он был озабочен тем, что ему не удалось получить. Он был очень далеко от меня, хотя я и сидел на расстоянии трех футов. С каждой секундой он все глубже уходил в мир романтики. Наконец, он проник в самое его сердце. Странное блаженство осветило его лицо, глаза сверкнули при свете свечи, горевшей на столе между нами; он улыбнулся. Он проник в самое сердце – в самое сердце. То была экстатическая улыбка. Мы с вами, друзья мои, никогда не будем так улыбаться. Я вернул его на землю словами:

– Если бы вы не покинули судна... Вы это хотели сказать?

Он повернулся ко мне; взгляд его был растерянный, в нем была такая мука. Лицо недоуменное, испуганное, страдальческое, словно он упал со звезды. Ни вы, ни я никогда не будем так глядеть. Он сильно вздрогнул, как будто холодный палец коснулся его сердца. Потом он вздохнул.

Я был настроен не особенно милостиво. Он провоцировал меня своими противоречивыми признаниями.

– Печально, что вы не знали раньше, – сделал я нехорошее замечание.

Но вероломная стрела упала, не причинив вреда, упала к его ногам, а он не подумал о том, чтобы ее поднять. Быть может, он даже ее и не заметил. Развалившись на стуле, он сказал:

– Черт возьми! Говорю вам, она шаталась. Я поднимал лампу вдоль железного клина там, внизу, когда куски ржавчины величиной с мою ладонь упали с переборки. – Он провел рукой по лбу. – Переборка дрожала и шаталась, как живая, когда я смотрел на нее.

– И тут вы почувствовали себя скверно? – заметил я вскользь.

– Неужели вы полагаете, – сказал он, – что я думал о себе, когда за моей спиной спали сто шестьдесят человек – на носу, между доками. А на корме их было еще больше... и на палубе... спали, ни о чем не подозревая... Их было втрое больше, чем могло поместиться в шлюпках, даже если бы и было время спустить их. Я ждал – вот-вот железная переборка на моих глазах не выдержит, и поток воды хлынет на них, спящих... Что было мне делать... что?

Мне легко было представить себе, как он стоял во мраке, а свет фонаря падал на кусок переборки, которая выдерживала давление всего океана, и слышалось дыхание спящих людей. Я видел, как он смотрел на железную стену, смотрел, страшно испуганный падающими кусками ржавчины, ошеломленный предвестием неминуемой смерти. Как я понял, это было тогда, когда его вторично послал на нос шкипер, желавший, по-видимому, удалить его с мостика. Джим сказал мне, что первым его побуждением было крикнуть и, разбудив всех этих людей, сразу повергнуть их в ужас; но сознание своей беспомощности так его придавило, что он не в силах был издать ни одного звука. Вот что, должно быть, подразумевается под словами «язык прилип к гортани». «Во рту все пересохло» – так описал Джим это состояние. Безмолвно выбрался он на палубу через люк номер первый. Виндзейль⁴, свеживавшийся вниз, случайно задел его лицо, и от легкого прикосновения парусины он чуть-чуть не слетел с трапа.

Ноги его подкашивались, когда он вышел на фордек и поглядел на спящую толпу. К тому времени остановили машины и стали выпускать пар. От этой глухой воркотни ночь вибрировала, словно басовая струна, и судно отвечало дрожью.

Кое-где с циновки приподнималась голова, смутно вырисовывалась фигура сидящего человека; секунду он сонно прислушивался, потом снова ложился среди нагроможденных ящиков, паровых воротов, вентиляторов. Джим знал: этим людям вся обстановка была слиш-

⁴ Рукав из парусины для очистки воздуха внутри судна.

ком неведома, чтобы они могли понять значение странного шума. Железное судно, белолицые люди, предметы, звуки, одним словом, все на борту казалось этой невежественной и благочестивой толпе странным и столь же надежным, сколь и непонятным. Ему пришло в голову, что это обстоятельство можно назвать удачным. Такая мысль была поистине ужасна.

Не забудьте: он верил, как верил бы на его месте всякий, что судно должно затонуть с минуты на минуту; шатающаяся изъеденная ржавчиной переборка, противостоящая много-тонному напору, должна была вот-вот рухнуть – рухнуть внезапно, как минированная дамба, и впустить поток воды. Он стоял неподвижно, глядя на эти распростертые тела, – обреченный человек, знающий свою судьбу и созерцающий сборище мертвецов. Да, они были мертвы. Ничто не могло их спасти. В шлюпке едва разместилась бы половина, да и то времени не было. Не было времени. Бессмысленным казалось разжать губы, шевельнуть рукой или ногой. Раньше, чем он успеет крикнуть три слова или сделать три шага, он уже будет барахтаться в море, которое покроется пеной от отчаянных усилий гибнущих людей и огласится воплями о помощи. Но помощи нет и быть не могло. Он прекрасно представлял себе, что именно случится; он пережил все это, застыв с фонарем в руке возле люка, пережил все, вплоть до самой последней мучительной детали. Думаю, он переживал это вторично, когда рассказывал мне то, о чем не мог говорить в суде.

– Я видел ясно – так же, как вижу вас сейчас, – что делать мне нечего. Жизнь как будто уже ушла от меня. Я мог бы стоять и ждать. Я не думал, чтобы у меня оставалось еще много секунд...

Вдруг выпуск пара прекратился. Шум, по словам Джима, тревожил, но эта внезапная тишина казалась невыносимой.

– Мне казалось, что я задохнусь раньше, чем утону, – сказал он. Затем заявил, что не думал о своем спасении. В его мозгу всплывала, исчезала и снова всплывала одна отчетливая мысль: восемьсот человек и семь шлюпок, восемьсот человек и семь шлюпок.

– Словно чей-то голос нашептывал, – сказал он мне взволнованно. – Восемьсот человек и семь шлюпок... и нет времени! Вы только подумайте.

Он наклонился ко мне через маленький столик, а я попытался не встретиться с ним взглядом.

– Вы думаете, я боялся смерти? – спросил он голосом очень напряженным и тихим. Он ударил ладонью по столу, и от этого удара запрыгали кофейные чашки. – Я готов поклясться, что не боялся, нет... Клянусь богом, нет. – Он выпрямился и скрестил на груди руки; подбородок его опустился на грудь.

Через высокие окна слабо доносился до нас стук посуды. Раздались громкие голоса, и на галерею вышло несколько человек, очень благодушно настроенных. Они обменивались шутками, вспоминая катанье на осле в Каире. Бледный, длинноногий юноша разговаривал с краснолицым чванным туристом, который высмеивал его покупки, сделанные на базаре.

– Скажите, вы в самом деле думаете, что я так сплеховал? – осведомился Джим очень серьезно и решительно.

Компания размещалась за столиками; вспыхивали спички, на секунду освещая невыразительные лица и пошлый блеск белых манишек; жужжание болтающих людей, разгорячившихся после обеда, казалось мне нелепым и бесконечно далеким.

– Несколько человек из команды спали на люке номер первый, в двух шагах от меня, – снова заговорил Джим.

Запомните: на этом судне на вахте стояли калаши, команда спала всю ночь, и будили только тех, кто сменял дежурных у нактоуза, вахтенных и рулевого. Джим почувствовал искушение растолкать ближайшего матроса, но он этого не сделал. Что-то его удержало. Он не боялся, о нет! – просто, он не мог – вот и все. Быть может, он не боялся смерти, – его пугала паника. Проклятая его фантазия нарисовала жуткое зрелище паники, стремительное бегство,

раздирающие душу вопли, опрокинутые шлюпки, – самые страшные картины катастрофы на море. Примириться со смертью он мог, но подозреваю, что он хотел умереть, не видя кошмарных сцен, – умереть спокойно. Эту готовность умереть видишь довольно часто, но редко встретите вы человека, облеченного в стальную непроницаемую броню решимости, который будет вести безнадежную борьбу до последней минуты: жажда покоя усиливается по мере того, как исчезает надежда, и побеждает, наконец, даже волю к жизни. Кто из нас этого не наблюдал? Быть может, мы сами испытали нечто подобное – крайнюю усталость, сознание бесполезности всяких усилий, страстную тягу к покою. Это хорошо известно тем, кто сражается со стихией, – потерпевшим крушение и спасшимся на шлюпках, путешественникам, заблудившимся в пустыне, людям, вступающим в единоборство с силами природы или бессмысленным зверством толпы.

Глава VIII

Долго ли он стоял неподвижно у люка, ожидая, что судно вот-вот опустится под его ногами, поток воды хлынет на него сзади и унесет, как щепку, – я не могу сказать. Быть может, две минуты. Двое из лежащих – он не мог их разглядеть – стали переговариваться сонными голосами; где-то слышалось шарканье ног. А над этими слабыми звуками нависло жуткое безмолвие, какое предшествует катастрофе, – страшное затишье перед ударом. Тут ему пришло в голову, что, пожалуй, он успеет взбежать наверх и перерезать тали, чтобы шлюпки не зевнули, когда судно пойдет ко дну.

На «Патне» мостик был длинный, и все шлюпки находились наверху; четыре с одной стороны и три с другой, самые маленькие на левом борту, против рулевого аппарата. Джим говорил с беспокойством, боясь, что я ему не поверю. Больше всего он заботился о том, чтобы в нужный момент шлюпки были наготове. Он знал свой долг. В этом смысле, думается мне, он был хорошим помощником.

– Я всегда считал, что нужно быть готовым к худшему, – пояснил он, тревожно вглядываясь в мое лицо.

Кивком я одобрил этот здравый принцип и отвернулся, чтобы не встретиться взглядом с человеком, в котором чудилась мне что-то болезненное.

Он побежал. Колени у него подгибались. Ему приходилось переступать через чьи-то ноги, перепрыгивать через головы. Вдруг кто-то схватил его снизу за куртку, подле него раздался измученный голос. Свет фонаря, который он держал в правой руке, упал на темное лицо, обращенное к нему, глаза молили так же, как и голос. Джим достаточно знал язык, чтобы понять слово «вода»; это слово было повторено несколько раз настойчивым, умоляющим голосом. Он рванулся, чтобы освободиться, и почувствовал, как рука обхватила его ногу.

– Бедняга цеплялся за меня, словно утопающий, – выразительно сказал Джим. – Вода, вода! О какой воде он говорил? Что ему было известно? Стараясь говорить спокойно, я приказал ему отпустить меня. Он меня задерживал, люди кругом начали шевелиться. Мне нужно было успеть перерезать канаты шлюпок. Теперь он овладел моей рукой, и я почувствовал, что он вот-вот заорет. У меня мелькнула мысль: «Этого будет довольно, чтобы поднять панику»; я размахнулся свободной рукой и ударил его фонарем по лицу. Стекло зазвенело, свет погас, но удар заставил его выпустить меня, и я пустился бежать – я хотел добраться до шлюпок... хотел добраться до шлюпок. Он прыгнул на меня сзади. Я повернулся к нему. Ему нельзя было заткнуть глотку. Он пытался кричать. Я чуть не задушил его раньше, чем понял, чего он хочет. Он просил воды – воды напиться; видите ли, пассажиры получали определенную, небольшую порцию воды, а с ним был маленький мальчик, которого я несколько раз видел. Ребенок был болен, хотел пить, и отец, заметив меня, когда я бежал мимо, попросил воды. Вот и все. Мы находились под мостиком в темноте. Он все цеплялся за мои руки; невозможно было от него отделаться. Я бросился в каюту, схватил свою бутылку с водой и сунул ему в руки. Он исчез. Тут только я понял, как мне самому хотелось пить.

Он оперся на локоть и прикрыл глаза рукой.

Я почувствовал, как мурашки забегали у меня по спине; что-то странное было во всем этом. Пальцы его руки, прикрывавшей глаза, чуть-чуть дрожали. Снова он заговорил:

– Это случается лишь один раз в жизни и... ну, ладно! Когда я добрался наконец до мостика, негодяи спускали одну из шлюпок с чак. Шлюпку! Когда я взбегал по трапу, кто-то тяжело ударил меня по плечу, едва не задев головы. Это меня не остановило, и первый механик – к тому времени они его подняли с койки – снова замахнулся багром. Почему-то я был так настроен, что ничему не удивлялся. Все это казалось вполне естественным

и ужасным... ужасным. Я увернулся от маньяка и поднял его над палубой, словно он был малым ребенком, а он зашептал, пока я его держал в руках: «Не надо! Не надо! Я вас принял за одного из этих...»

...Я отшвырнул его, он полетел на мостик и подкатился под ноги тому маленькому парнишке – второму механику. Шкипер, возившийся у лодки, оглянулся и направился ко мне, опустив голову и ворча, словно дикий зверь. Я не шевельнулся и стоял как каменный. Я стоял так же неподвижно, как эта стена, – он ударил суставом пальца по стене у своего стула. – Казалось, словно все это я уже видел, слышал, пережил раз двадцать. Я их не боялся. Я опустил кулак, а он остановился, бормоча: «А, это вы! Помогите нам. Живей». Вот все, что он сказал. «Живей!» Словно можно было успеть! – «Что вы хотите сделать?» – спросил я. «Убраться отсюда», – огрызнулся он через плечо.

Кажется, тогда я не понял, что именно он имел в виду. К тому времени те двое поднялись на ноги и вместе бросились к лодке. Они топтались, пыхтели, толкались, проклинали лодку, судно, друг друга, проклинали меня. Все вполголоса. Я не шевелился, не говорил. Я смотрел, как накренилось судно. Оно лежало совершенно неподвижно, словно на блоках в сухом доке, но держалось оно вот так. – Он поднял руку, ладонью вниз, и согнул пальцы. – Вот так! – повторил он. – Я ясно видел перед собой линии горизонта над верхушкой форштевня; я видел воду там, вдали, – черную и сверкающую, и неподвижную, словно в заводи. Таким неподвижным море никогда еще не бывало, и я не мог этого вынести. Видали вы когда-нибудь судно, плывущее с опущенным носом? Судно, которое держится на воде лишь благодаря листу старого железа, слишком ржавого, чтобы можно было его подпереть изнутри? Видали? Я об этом думал – я думал решительно обо всем; но можете вы подпереть в пять минут переборку... или хотя бы в пятьдесят минут? Где мне было достать людей, которые согласились бы спуститься туда, вниз? А дерево... дерево! Хватило б у вас мужества ударить молотком, если бы вы видели эту переборку? Не говорите, что вы бы это сделали: вы ее не видели. Никто бы этого не сделал! Чтобы приняться за это, вы должны верить, что есть хоть один шанс на тысячу, хотя бы призрачный; а вы бы не могли поверить. Не могли. Никто бы не поверил. Вы думаете, я – трус, потому что стоял там, ничего не делая. А что бы сделали вы? Что? Что, по-вашему, я должен был делать? Что толку было пугать до смерти всех этих людей, которых я один не мог спасти, которых ничто не могло спасти. Слушайте. Это так же верно, как то, что я сижу здесь перед вами...

После каждого слова он быстро переводил дыхание и взглядывал на меня, словно не переставал наблюдать за впечатлением, какое производили его слова. Не ко мне он обращался, он лишь разговаривал в моем присутствии, вел диспут с невидимым лицом, враждебным и неразумным спутником его существования. То было судебное следствие, которое не судьям вести, – важный спор об истинной сущности жизни, и присутствие судьи было излишне. Джиму нужен был союзник, сообщник, соучастник. Я почувствовал, какому риску себя подвергаю: он мог меня ослепить, обмануть, запугать, быть может, чтобы я принял решительное участие в словесном состязании, где никакое решение невозможно, если хочешь быть честным по отношению ко всем призракам – как почетным, имеющим свои права, так и постыдным, предъявляющим свои требования.

Я не могу объяснить вам, ибо вы его не видели, не могу объяснить характер своих чувств. Казалось, меня вынуждают понять непостижимое, и я не знаю, с чем сравнить неловкость такого ощущения. Меня заставляли видеть условность правды и искренность лжи. Он апеллировал сразу к двум лицам – к лицу, какое всегда обращено к дневному свету, и к тому лицу, какое у нас у всех обращено к вечной тьме и лишь изредка видит пугливый пепельный свет. Да, он заставлял меня колебаться. Я признаюсь в этом, каюсь. Если хотите, случай был незначительный: погибший юноша, один из миллиона, но ведь он был одним из нас; инцидент, лишенный всякого значения, подобно наводнению в муравейнике, и тем не

менее тайна его поведения приковала меня, словно темная истина была настолько важной, что могла повлиять на представление человечества о самом себе...

Марлоу приостановился, чтобы разжечь потухающую сигару, и, казалось, позабыл о своем рассказе; потом неожиданно снова заговорил.

– Да, конечно, я виноват. Действительно, нечем было интересоваться. Это моя слабость. Его слабость – иного порядка. Моя же заключается в том, что я не вижу случайного, внешнего, не делаю различия между мешком тряпичника и тонким бельем первого встречного. Первый встречный, вот именно. Я видел столько людей, с иными я близко соприкасался – все равно, как с этим парнем, и всякий раз я видел перед собой лишь человеческое существо...

Марлоу снова приостановился, быть может, ожидая ободряющего замечания, но все молчали; только хозяин как бы с неохотой прошептал:

– Вы так утонченны, Марлоу.

– Кто? Я? – тихо сказал Марлоу. – О нет! Но он – Джим – был утонченным; и я, как бы ни старался получше рассказать эту историю, все равно пропускаю множество оттенков – они так тонки, так трудно передать их бесцветными словами. Ибо он усложнял дело еще и тем, что был так прост, бедняга!.. Клянусь Юпитером, он был удивительным парнем. Он говорил мне, что ни с чем не побоялся бы столкнуться – это так же верно, как и то, что он сидит передо мной. И ведь он в это верил. Говорю вам, – это было удивительно наивно... и вместе с тем грандиозно. Я наблюдал за ним исподтишка, словно заподозрил его в намерении меня взбесить. Он был уверен, что по чести, – заметьте, «по чести» – ничто не могло его испугать. Еще с тех пор, как он был «вот таким» – «совсем мальчишкой», – он готовился ко всему, с чем можно встретиться на суше и на море. Он с гордостью признавался в своей предусмотрительности. Он измышлял всевозможные опасности и способы обороны, ожидая худшего и собираясь с силами. Должно быть, он всегда пребывал в состоянии экзальтации. Можете вы себе это представить? Ряд приключений, столько славы, такой победный путь. И каждый день своей жизни он венчал ощущением собственной своей проницательности. Он забылся; глаза его сверкали, и с каждым его словом мое сердце, опаленное его нелепостью, все сильнее сжималось. Мне было не до смеха, а чтобы не улыбнуться, я сделал каменное лицо. Он стал проявлять все признаки раздражения.

– Случается всегда неожиданное, – сказал я примирительно.

Мое недомыслие вызвало у него презрительное междометие. Полагаю, он хотел этим сказать, что неожиданное не могло его затронуть; лишь одно непостижимое могло одержать верх над его подготовленностью. Он был застигнут врасплох, он проклинал море и небо, судно и людей. Все его предали. Им овладела та высокомерная покорность, которая мешала ему пальцем пошевелинуть, в то время как остальные трое, отчетливо уяснившие себе положение, в отчаянии пыхтели над лодкой. Что-то у них там не ладилось. Очевидно, второпях они как-то ухитрились защемить болт переднего блока лодки и, поняв, чем грозила их оплошность, окончательно потеряли рассудок. Должно быть, славное это было зрелище: яростные усилия этих негодяев, которые копошились на неподвижном судне, застывшем в мечтании спящего моря, боролись за освобождение лодки, ползали на четвереньках, вскакивали, друг на друга огрызались – на грани убийства, готовы были вцепиться друг другу в горло. Удерживал их только страх смерти, которая безмолвно стояла за ними, словно непоколебимый и хладнокровный надсмотрщик. О да! Зрелище было удивительное. Он видел это все, он мог говорить об этом с презрением и горечью; мельчайшие детали он воспринял каким-то шестым чувством, ибо он клялся мне, что стоял в стороне и не смотрел ни на них, ни на лодку, – не бросил ни единого взгляда. И я ему верю. Мне думается, он слишком был

поглощен зрелищем жутко накренившегося судна, угрозой, вставшей в момент полной безопасности, был зачарован мечом, на волоске висящим над его пылкой головой фантазера.

Весь мир замер перед ним, и он легко мог себе представить, как взметнется вверх темная линия горизонта, поднимется внезапно широкая равнина моря; быстрый, спокойный подъем, отчаянный бросок, бездна, борьба надежды, звездный свет, навеки смыкающийся над его головой, словно свод sklepa, мятеж юной жизни, черный конец. Это он мог представить. Клянусь, всякий бы мог! И не забудьте, – он был законченным артистом в этой области, одаренным способностью быстро вызывать видения, предшествующие событиям. И зрелище, какое он вызвал, заставило его окаменеть, но в мозгу его мысли кружились в дикой пляске, – пляска хромых, слепых, немых мыслей, вихрь страшных калек. Говорю вам, он исповедовался, словно я наделен был властью отпускать грехи. Он опускался в глубь души, надеясь получить от меня отпущение, которое не принесло бы ему никакой пользы. То был один из тех случаев, когда самый священный обман не может принести облегчения, когда ни один человек не может помочь...

Он стоял на штирборте мостика, отойдя подальше от того места, где шла борьба за лодку. А борьбу вели с безумным возбуждением и втихомолку, словно заговорщики. Два малайца по-прежнему сжимали спицы штурвала. Вы только представьте себе участников этого единственного эпизода на море; представьте себе этих четверых, обезумевших от яростных усилий, и тех троих, неподвижных зрителей; они стояли на мостике, над тентом, скрывавшим глубокое неведение нескольких сот усталых человеческих существ с их грезами и надеждами. Ибо я не сомневаюсь, что так оно и было: принимая во внимание состояние судна, нельзя себе представить большей опасности. Те негодяи у лодки недаром обезумели от страха. Откровенно говоря, будь я там, я бы не дал и фальшивого фартинга за то, что судно продержится на воде до конца каждой следующей секунды. И все-таки оно держалось. Эти спящие паломники обречены были совершить свое паломничество и изведать горечь какого-то иного конца. Это спасение я считал бы явлением загадочным и необъяснимым, если бы не знал, как выносливо может быть старое железо, не менее выносливо, чем дух иных людей, – людей исхудавших, как тени, и несущих на своих плечах бремя жизни. Не менее удивительным кажется мне и поведение двух рулевых. Их вызвали из Эдена вместе с прочими туземцами дать показания на суде. Один из них, очень застенчивый, с желтой веселой физиономией, был совсем молод, а выглядел еще моложе. Помню, как Брайерли спросил его через переводчика, о чем он в то время думал, а переводчик, обменявшись с ним несколькими словами, внушительно заявил:

– Он говорит, что ни о чем не думал.

У другого были терпеливые мигающие глаза, а его седую, косматую голову украшал красиво обернутый синий бумажный платок, полинявший от стирки; лицо у него было худое, щеки провалились, а коричневая кожа от сети морщин казалась еще темнее. Он объяснил, что подозревал о какой-то беде, грозившей судну, но никакого приказа не получал; зачем же ему было бросать штурвал? Отвечая на следующие вопросы, он передернул худыми своими плечами и заявил, что тогда ему в голову не приходило, что белые из боязни смерти собираются покинуть судно. Он и теперь этому не верил. Могли быть какие-нибудь тайные причины. Он глубокомысленно замотал своей старой головой. Тайные причины. Опыт у него был большой, и он желал, чтобы этот белый туан знал, – тут он повернулся в сторону Брайерли, который не поднял головы, – что он приобрел большие знания на службе у белых людей; много лет он служил на море. И вдруг, дрожа от возбуждения, он излил на нас, слушателей, поток странно звучащих имен; то были имена давно умерших капитанов, названия забытых местных судов, – звуки знакомые и искаженные, словно рука времени стирала их в течение нескольких веков. Наконец, его прервали. Наступило минутное молчание, мягко перешедшее в тихий шепот. Этот эпизод явился сенсацией второго дня следствия, затронув

всю аудиторию, затронув всех, кроме Джима, который угрюмо сидел с краю на первой скамье и даже не поднял головы, чтобы взглянуть на этого необыкновенного и пагубного свидетеля...

Итак, эти два матроса остались у штурвала судна, остановившегося на своем пути: здесь и наступила бы их смерть, если бы такова была их судьба. Белые не бросили на них ни единого взгляда, быть может, позабыли об их существовании. Во всяком случае, Джим о них не вспоминал. Теперь, когда он был один, он ничего предпринять не мог. И предпринимать, в сущности, было нечего, оставалось лишь затонуть вместе с судном. Не стоило поднимать из-за этого суматоху. Не так ли? Он ждал, выпрямившись, молчаливый; его поддерживала мысль о героическом самообладании.

Первый механик осторожно перебежал мостик и дернул Джима за рукав. «Ну, помогите! Ради бога, идите и помогите!»

Затем на цыпочках побежал к лодке, но тотчас же вернулся и снова уцепился за его рукав; он одновременно и умолял и ругался.

— Казалось, он готов был целовать мне руки, — злобно сказал Джим, — а через секунду этот парень зашептал с пеной у рта: «Будь у меня время, я бы с удовольствием проломил вам череп». — Я его оттолкнул. Вдруг он обхватил меня за шею. Черт бы его побрал. Я его ударил, не глядя. Тут он, всхлипывая, взмолился: «Не хочешь, что ли, себя самого спасти, проклятый ты трус!» — Трус! Он меня назвал проклятым трусом! Он меня назвал... ха-ха-ха!..

Джим откинулся на спинку стула и весь трясся от смеха. Никогда я не слышал такого горького смеха. Он упал, словно зловещий туман, на все эти шуточки об ослах, пирамидах, базарах... Затихли голоса людей, разговаривавших на длинной сумрачной веранде, бледные лица одновременно повернулись в нашу сторону, наступила такая тишина, что звон чайной ложки, упавшей на мозаичный пол веранды, прозвучал тонким серебристым воплем.

— Нельзя так смеяться при всех этих людях, — заметил я, — это не годится.

Он как будто меня не слышал, но затем поднял глаза и, пристально глядя мимо меня, словно всматриваясь в жуткое видение, пробормотал небрежно:

— О, они подумают, что я пьян.

Затем он принял такой вид, как будто решил никогда больше не произнести ни слова. Но он уже не мог остановиться, как не мог уйти из жизни одним напряжением воли.

Глава IX

– Про себя я говорил: «Тони, проклятое! Тони!»

Этой фразой он снова начал свой рассказ. Да, он хотел, чтобы все было кончено. Он остался совершенно один и, проклиная, взывал к судну; и вместе с тем – поскольку я могу судить – он наслаждался, созерцая жалкую комедию. Те все еще возились у болта. Шкипер распорядился: «Полезайте под нее и постарайтесь поднять». Остальные, естественно, противились. Вы представляете: лежать, распластавшись, под килем лодки – положение не из приятных, если судно в эту минуту внезапно пойдет ко дну. – «Почему вы сами не лезете? Ведь вы самый сильный!» – захныкал маленький механик. – «Проклятие! Я слишком толст», – в отчаянии пробормотал шкипер.

Зрелище было такое забавное, что ангелы и те могли заплакать. Секунду они стояли растерянные; вдруг первый механик снова бросился к Джиму: «Помогите же! С ума вы, что ли, сошли? Ведь это же единственный шанс на спасение! Помогите! Посмотрите, посмотрите туда!»

И наконец, Джим посмотрел назад, в ту сторону, куда с настойчивостью маньяка показывал механик. Он увидел, что черная туча уже поглотила треть неба. Вы знаете, как налетают шквалы в это время года? Сначала вы видите, что горизонт темнеет – и только; затем поднимается облако, плотное, как стена. Прямой край облака, обрамленный слабыми беловатыми отблесками, надвигается с юго-запада, поглощая звезды – одно созвездие за другим; тень его летит над водой, и море и небо тонут во мраке. И все тихо. Ни грома, ни ветра, ни звука, ни проблеска молнии. Затем во мраке вселенной встает сине-багровая арка; проходят одна-две волны – кажется, будто мрак вздымается волнами, – и вдруг налетают вихрь и дождь и ударяют с бешеной силой. Вот такая-то туча и надвинулась, пока они не смотрели на небо. Они только что ее заметили и сделали совершенно правильный вывод: если при абсолютном затишье у судна есть кое-какие шансы продержаться еще несколько минут на воде, то малейшее волнение приведет к концу немедленно. Первая встреча с валом будет и последней: судно нырнет и станет опускаться все ниже, ниже, до самого дна. Вот чем объяснялись эти новые судороги страха, новые корчи, в которых изливали они свое крайнее отвращение к смерти.

– Было черно, как в могиле, – продолжал Джим угрюмо. – Туча подползла к нам сзади. Проклятая! Должно быть, где-то еще теплилась во мне надежда. Не знаю. Но теперь с этим было покончено. Меня бесило, что я так попался. Я злился, словно меня поймали в западню. Да, так оно и было. И ночь, помню, была жаркая. Воздух застыл.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.